МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

А. П. Керн

Воспоминания
Переписка



А. П. Керн

Воспоминания. Переписка



Москва
Берлин
2021

УДК 94(47).07
ББК 63.3(2)52д
К36

Керн, А. П.
К36 Воспоминания. Переписка / А. П. Керн. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — 220 с.

ISBN 978-5-4499-2618-0

Анна Петровна Керн, русская дворянка, то самое «чудное мгновенье», загадочная дама, которая словно тенью всегда стоит рядом с Пушкиным. Ее имя сегодня знает каждый школьник, а между тем о ней самой, увы, известно совсем немногое. Несчастливый брак в юности, долгие годы страданий и нищенское существование в старости, хотя и рядом с любимым человеком. Будучи в молодости вхожа в светское высшее общество, Анна Петровна знала высокопоставленных персон, людей искусства, встречалась даже с императором Александром I. Керн трепетно хранила письма, которые и стали впоследствии основой ее мемуаров.

Читатель, интересующийся историей, найдет в этих мемуарах увлекательные зарисовки из XIX века и узнает подробности о жизни пушкинской музы; любитель русской поэзии — неизвестные факты о жизни Пушкина, Дельвига; музыкант увидит портрет основоположника русской классической музыки М. И. Глинки…

УДК 94(47).07
ББК 63.3(2)52д

ISBN 978-5-4499-2618-0

Воспоминания

Воспоминания о Пушкине

Вам захотелось, почтенная и добрая Е. Н., узнать некоторые подробности моего знакомства с Пушкиным. Спешу исполнить ваше желание. Начну с начала и выдвину перед вами, еще кроме Пушкина, несколько лиц, вам очень знакомых и всем известных.

Я воспитывалась в Тверской губернии, в доме родного деда моего по матери, вместе с двоюродною сестрою моею, известною вам Анною Николаевною Вульф, до 12 лет возраста. В 1812 г. меня увезли от дедушки в Полтавскую губернию, а 16 лет выдали замуж за генерала Керна.

В 1819 г. я приехала в Петербург с мужем и отцом, который, между прочим, представил меня в дом его родной сестры, Олениной. Тут я встретила двоюродного брата моего Полторацкого, с сестрами которого я была еще дружна в детстве. Он сделался моим спутником и чичероне в кругу незнакомого для меня большого света. Мне очень нравилось бывать в доме Олениных, потому что у них не играли в карты, хотя там и не танцевали, по причине траура при дворе, но зато играли в разные занимательные игры и преимущественно в charades en action[1], в которых принимали иногда участие и наши литературные знаменитости — Иван Андреевич Крылов, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол и другие.

В первый визит мой к тетушке Олениной батюшка, казавшийся очень немногим старше меня, встретясь в дверях гостиной с Крыловым, сказал ему: «Рекомендую вам меньшую сестру мою». Иван Андреевич улыбнулся, как только он умел улыбаться, и, протянув мне обе руки, сказал: «Рад, очень

---

[1] Шарады (фр.).

рад познакомиться с сестрицей». На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его: мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались и в которых участвовали Крылов, Плещеев и другие. Не помню, за какой-то фант Крылова заставили прочитать одну из его басен. Он сел на стул посередине залы; мы все столпились вкруг него, и я никогда не забуду, как он был хорош, читая своего *Осла*! И теперь еще мне слышится его голос и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнес: «Осел был самых честных правил!»

В чаду такого очарования мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина. Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и, когда я держала корзинку с цветами, Пушкин, вместе с братом Александром Полторацким, подошел ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата, сказал: «Et c'est sans doute Monsieur qui fera l'aspic?»[2] Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла.

После этого мы сели ужинать. У Олениных ужинали на маленьких столиках, без церемоний и, разумеется, *без чинов*. Да и какие могли быть чины там, где просвещенный хозяин ценил и дорожил только науками и искусствами? За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как, например: «Est-il permis d'être ainsi jolie!»[3] Потом завязался между ними шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет играть в шарады. Спроси у m-me Керн, хотела ли бы она попасть в ад?» Я отвечала очень серьезно и не-

---

[2] А роль змеи, как видно, предназначается этому господину? (фр.).

[3] Можно ли быть такой хорошенькой! (фр.).

сколько сухо, что в ад не желаю. «Ну, как же ты теперь, Пушкин?» — спросил брат. «Je me ravise[4], — ответил поэт, — я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины...» Вскоре ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда я уезжала, и брат сел со мною в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами.

Впечатление его встречи со мною он выразил в известных стихах:

Я помню чудное мгновенье,
и проч.

Вот те места, в 8-й главе *Онегина*, которые относятся к его воспоминаниям о нашей встрече у Олениных:

...Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал,
К хозяйке дама приближалась...
За нею важный генерал.
Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязанья на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей;
Все тихо, просто было в ней.
Она, казалось, верный снимок
Du comme il faut... прости,
Не знаю, как перевести!
К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей,
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей,
Девицы проходили тише

[4] Я раздумал (фр.).

Пред ней по зале: и всех выше
И нос, и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
……………………………….
Но обратимся к нашей даме.
Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола.
…………………………………
Сомненья нет, увы! Евгений
В Татьяну, как дитя, влюблен.
В тоске любовных помышлений
И день и ночь проводит он.
Ума не внемля строгим пеням,
К ее крыльцу, к стеклянным сеням,
Он подъезжает каждый день,
За ней он гонится, как тень;
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей,
Или платок поднимет ей!

Прожив несколько времени в Дерпте, в Риге, в Пскове, я возвратилась в Полтавскую губернию, к моим родителям. В течение 6 лет я не видела Пушкина, но от многих слышала про него, как про славного поэта, и с жадностью читала: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Разбойники» и 1-ю главу «Онегина», которые доставлял мне сосед наш Аркадий Гаврилович Родзянко, милый поэт, умный, любезный и весьма симпатичный человек. Он был в дружеских отношениях с Пушкиным и имел счастье принимать его у себя в деревне Полтавской губернии, Хорольского уезда. Пушкин, возвращаясь с Кавказа, прискакал к нему с ближайшей станции, верхом, без седла, на почтовой лошади, в хомуте...

Во время пребывания моего в Полтавской губернии я постоянно переписывалась с двоюродною сестрою моею, Анною Николаевною Вульф, жившею у матери своей в *Тригорском*, Псковской губернии, Опочецкого уезда, близ деревни Пушкина *Михайловского*.

Она часто бывала в доме Пушкина, говорила с ним обо мне и потом сообщала мне в своих письмах различные его фразы; так, в одном из них она писала: «Vous avez produit une vive impression sur Pouchkine à votre rencontre, chez Olenine; il dit partout: elle était trop brillante»[5]. В одном из ее писем Пушкин приписал сбоку, из Байрона: «Une image qui a passé devant nous, que nous avons vue et que nous ne reverrons jamais»[6]. Когда же он узнал, что я видаюсь с Родзянко, то переслал через меня к нему письмо, в котором были расспросы обо мне и стихи:

Наперсник Феба иль Приапа,
Твоя соломенная шляпа
Завидней, чем иной венец,
Твоя деревня Рим, ты папа,
Благослови ж меня, певец!

Далее в том же письме он говорит: «Ты написал Хохлачку, Баратынский Чухонку, я Цыганку, что скажет Аполлон?» и проч. и проч., дальше не помню, неверно цитировать не хочу. После этого мне с Родзянко вздумалось полюбезничать с Пушкиным, и мы вместе написали ему шуточное послание в стихах. Родзянко в нем упоминал о моем отъезде из Малороссии и о несправедливости намеков Пушкина на любовь ко

---

[5] Ты произвела сильное впечатление на Пушкина во время вашей встречи у Олениных; он всюду говорит: она была ослепительна (фр.).

[6] Промелькнувший перед нами образ, который мы видели и никогда более не увидим (фр.).

мне. Послание наше было очень длинно, но я помню только последний стих:

Прощайте, будьте в дураках!

Ответом на это послание были следующие стихи, отданные мне Пушкиным, когда я через месяц после этого встретилась с ним в Тригорском.

Вот они:

Ты обещал о романтизме,
О сем Парнасском афеизме
Потолковать еще со мной;
Полтавских муз поведать тайны, —
А пишешь лишь об ней одной.
Нет, это ясно, милый мой,
Нет, не влюблен Пирон Украйны.
Ты прав, что может быть важней
На свете женщины прекрасной?
Улыбка, взор ее очей
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласной;
Поговорим опять *об ней*.

Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей,
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу,
Не наведет она зевоту.
Дай бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремоту!
Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода,
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...
А во-вторых, замечу я,

Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы:
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви.

Михайловское.
А. Пушкин

Восхищенная Пушкиным, я страстно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тетки моей, в Тригорском, в 1825 г., в июне месяце. Вот как это было. Мы сидели за обедом и смеялись над привычкою одного г-на Рокотова, повторяющего беспрестанно: «Pardonnez ma franchise» и «Je tiens beaucoup à votre opinion»[7]. Как вдруг вошел Пушкин с большой, толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол; он обедал у себя, гораздо раньше, и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками, chien-loop[8]. Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость видна была в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться; он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, — и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Раз он был так нелюбезен, что сам в этом сознался сестре, говоря: «Ai-je été assez vulgaire aujoud'hui!»[9] Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и

---

[7] «Простите за откровенность» и «Я весьма дорожу вашим мнением» (фр.).
[8] Волкодавами (фр.).
[9] До чего же я был неучтив сегодня! (фр.).

был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его... Так, один раз мы восхищались его тихою радостью, когда он получил от какого-то помещика при любезном письме *охотничий рог* на *бронзовой цепочке*, который ему нравился. Читая это письмо и любуясь рогом, он сиял удовольствием и повторял: «Charmant! Charmant!» [10] Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про *Черта*, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов и поместил, кажется, в *Подснежнике*. Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество. Однажды с этою целью явился он в *Тригорское* с своею большою черною книгою, на полях которой были начерчены ножки и головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих «Цыган». Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу!.. Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения; он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих «Цыганах»:

И голос шуму вод подобный.

Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку в Михайловское. Пушкин очень обрадовался этому, и мы поехали. Погода была чудесная, лунная июньская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах: тетушка с сыном в одном; сестра, Пушкин и я в другом. Ни прежде, ни после я не видала его так добродушно веселым и любезным. Он шутил без острот и сарказмов; хвалил луну, не называл ее глупою, а говорил: «J'aime la lune quand elle éclaire un beau

---

[10] Чудесно! Чудесно! (фр.).

visage»[11], хвалил природу и говорил, что он торжествует, воображая в ту минуту, будто Александр Полторацкий остался на крыльце у Олениных, а он уехал со мною; это был намек на то, как он завидовал при нашей первой встрече А. Полторацкому, когда тот уехал со мною. Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый, запущенный сад, «Приют задумчивых дриад», с длинными аллеями старых дерев, корни которых, сплетясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехавши туда вслед за нами, сказала: «Mon cher Pouchkine, faites les honneurs de votre jardin à Madame»[12]. Он быстро подал мне руку и побежал скоро, скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Подробностей разговора нашего не помню; он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, восторженно и в конце разговора сказал: «Vous aviez un air si virginal; n'est ce pas que vous aviez sur vous quelque chose comme une croix?»[13]

На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрою Анной Николаевной Вульф. Он пришел утром и на прощанье принес мне экземпляр 2-й главы Онегина, в неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами:

Я помню чудное мгновенье
и проч. и проч.

Когда я сбиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону Дельвигу, который их поместил в

---

[11] Я люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо (фр.).

[12] Мой милый Пушкин, будьте же гостеприимны и покажите госпоже ваш сад (фр.).

[13] Вы выглядели такой невинной девочкой; на вас было тогда что-то вроде крестика, не правда ли? (фр.).

своих Северных цветах. Михаил Иванович Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя.

Во время пребывания моего в Тригорском я пела Пушкину стихи Козлова:

Ночь весенняя дышала
Светлоюжною красой,
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной,

и проч.

Мы пели этот романс Козлова, на голос «*Benedetto sia la madre*»[14], баркаролы венецианской. Пушкин с большим удовольствием слушал эту музыку и писал в это время Плетневу: «Скажи старцу Козлову, что здесь есть одна прелесть, которая поет его ночь. Как жаль, что он ее не увидит! дай бог ему ее слышать!»

Итак, я переехала в Ригу. Тут гостили у меня сестра, приехавшая со мною, и тетушка со всем семейством. Пушкин писал из *Михайловского* к ним обеим; в одном из своих писем тетушке он очертил мой портрет так:

«Voulez vous savoir ce que c'est que M-me K...? elle est souple, elle comprend tout; elle s'afflige facilement et se console de même; elle est timide dans les manières et hardie dans les actions; mais elle est bien attrayante»[15].

Его письмо к сестре очень забавно и остро, выписываю здесь то, что относилось ко мне:

«Tout Trigorsky chanle. *Не мила ей прелесть* NB: *ночи*, et cela me serre le coeur; hier M-r Alexis et moi, nous avons parlé 4 heures de suite.

[14] «Пусть благословенна будет мать» (ит.).

[15] Хотите знать, что такое г-жа К...? — она изящна: она все понимает; легко огорчается и так же легко утешается; у нее робкие манеры и смелые поступки, — но при этом она чудо как привлекательна (фр.).

Jamais nous n’avons eu une aussi longue conversation. Devinez ce qui nous a uni tout à coup? Ennui? *conformité de sentiment?* je n’en sais rien; je me promène tontes les nuits dans mon jardin, je dis: aile était là; la pierre qu’elle a heurtée est sur ma table auprès d’une héliotrope fanée. J’écris beaucoup de vers. Tout cela, si vous voulez, ressemble beaucoup à de l’amour, mais je vous jure qu’il n’en est rien. Si j’étais amoureux, j’aurais eu *dimanche* des convulsions de rage et de jalousie et je n’ai été que piqué... cependant l’idée que je ne suis rien pour elle, qu’après avoir éveillé, occupé son imagination, je n’ai qu’amusé sa curiosité; que mon souvenir ne la rendra pas un moment plus distraite au milieu de ses triomphes, ni plus sombre dans ses jours de tristesse, que ses beaux yeux s’attacheront sur quelque fat de Riga avec la même expression déchirante et voluptueuse... non, cette idée m’est insupportable, dites lui que j’en mourrai; non, ne le lui dites pas; elle s’en moquerait, cette délicieuse créature. Mais dites lui, que si son coeur n’a pas pour moi une tendresse secrète, un penchant mélancolique et mystérieux, je la méprise, entendez vous? oui, je la méprise, malgré tout l’étonnement que doit lui causer un sentiment aussi nouveau... 21 juillet»[16].

---

[16] Все Тригорское распевает: не мила ей прелесть ночи, и сердце мое сжимается, слушая эту песню. Вчера я четыре часа сряду говорил с Алексисом; никогда еще не было у нас такого длинного разговора. Что же вдруг соединило нас? Скука? Сродство чувств? Право, и сам не знаю. Каждую ночь я гуляю в своем саду и говорю себе: «Здесь была она... камень, о который она споткнулась, лежит на моем столе подле увядшего гелиотропа. Наконец я много пишу стихов. Все это, если хотите, крепко похоже на любовь, но божусь вам, что о ней и помину нет. Будь я влюблен, — я бы, кажется, умер в воскресенье от бешеной ревности, — а между тем мне просто было досадно. Но все-таки мысль, что я ничего не значу для нее, что, заняв на минуту ее воображение, я только дал пищу ее веселому любопытству, — мысль, что воспоминание обо мне не нагонит на нее рассеянности среди ее триумфов и не омрачит сильнее лица ее в грустные минуты, — что прекрасные глаза ее остановятся на каком-нибудь рижском фате с тем же пронзающим и сладострастным выражением, — о, эта мысль невыносима для меня... Скажите ей, что я умру от этого... нет, лучше не говорите, а то это восхитительное создание станет смеяться надо мною. Но скажите ей, что если в сердце ее не таится сокровенная нежность ко мне, если нет в нем таинственного и меланхолического влечения, — то я презираю ее — слышите ли — презираю, не обращая внимания на удивление, которое вызовет в ней такое небывалое чувство. 21-го июля (фр.).

Вскоре ему захотелось завязать со мной переписку, и он написал мне следующее письмо:

«J'ai eu la faiblesse de vous demander la permission de vous écrire et vous — l'étourderie ou la coquetterie de me le permettre. Une correspondance ne mène à rien, je le sais; mais je n'ai pas la force de résister au désir d'avoir un mot de votre jolie main. Votre visite à Trigorsky m'a laissé une impression plus forte et plus pénible, que celle, qu'avait produite jadis notre rencontre chez Оленин. Ce que j'ai de mieux à faire au fond de mon triste village, est de tâcher de ne plus penser к vous. Vous devriez me le souhaiter aussi pour peu que vous avez de la. pitié dans l'âme — mai*s la frivolité est toujours cruelle, et vous autres, tout en tournant les têtes à tort et à travers, vous êtes enchantées de savoir une âme souffrante en votre honneur et gloire.

Adien, divine. J'enrage et je suis à vos pieds. Mille tendresses à Ермолай Федорович et mes compliments à M-me Voulf, 25 juillet.

Je reprends la plume, car je meurs d'ennui et ne puis m'occuper que de vous — j'espère que vous lirez cette lettre en cachette — la cacherez vous encore dans votre sein? me répondrez vous bien longuement? écrivez moi tout ce qui vous passera par la tête, je vous en conjure. Si vous craignez ma fatuité, si vous ne voulez pas vous compromettre, contrefaites votre écriture, signez un nom de fantaisie — mon coeur saura vous reconnaitre. Si vos expressions seront aussi douces que vos regards, hélas! je tâcherais d'y croire, ou de me tromper, c'est égal.— Savez-vous bien qu'en relisant ces lignes, je suis honteux de leur ton sentimental — que dira[17] Анна Николаевна? Ах вы чудотворка или чудотворица!»

---

[17] «Я имел слабость просить у вас позволения писать к вам, а вы, по ветрености или кокетству, позволили мне это. Я знаю, что переписка не ведет ни к чему; но у меня нет силы устоять против искушения — иметь у себя хоть одно слово, написанное вашей хорошенькой ручкой. Ваш приезд в Тригорское произвел на меня впечатление гораздо живее и тягостнее, чем некогда наша встреча у Олениных. Теперь, в глуши моей печальной деревни, мне ничего не остается лучше, как перестать думать о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости, — вы должны бы сами желать мне этого; но ветреность всегда жестока; и вся ваша братья, вертя как попало чужие головы, восхищается сознанием, что есть на свете душа, страдающая в честь и славу вам. — Прощайте, божество; я мучусь от бешенства и целую ваши ножки... Тысячу любезностей Ермолаю Федоровичу и сердечный поклон Вульф. 25 июля.

Получа это письмо, я тотчас ему отвечала и с нетерпением ждала от него второго письма; но он это второе письмо вложил в пакет тетушкин, а она не только не отдала мне его, но даже не показала. Те, которые его читали, говорили, что оно было прелесть как мило.

В другом письме его было:

«Ecrivez-moi et beaucoup en long, et en large et en diagonale».[18]

Мне бы хотелось сделать много выписок из его писем; они все были очень милы, но ограничусь еще одним:

«N'est-ce pas que je suis beaucoup plus aimable par poste qu'en face? hé bien, si vous venez, je vous promets d'être extrêmement aimable.— Ja serai gai lundi, exalté mardi, tendre mercredi, leste jeudi, vendredi, samedi et dimanche je serai tout ce qu'il vous plaira et tonte la semaine à vos pieds *Adieu. 28 aôit*»[19].

Через несколько месяцев я переехала в Петербург и, уезжая из Риги, послала ему последнее издание Байрона, о котором он так давно хлопотал, и получила еще одно письмо, чуть ли не

Я снова берусь за перо, потому что умираю от скуки и могу заниматься только вами. Надеюсь, что вы прочтете это письмо украдкой... Скажите, спрячете ли вы его опять на груди? станете ли отвечать мне подробно? Ради бога, пишите мне все, что придет вам в голову. Если вы боитесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, — перемените почерк, подпишите какое хотите имя, сердце мое и так узнает вас. — Если слова ваши будут так же сладки, как и ваши взгляды, тогда, увы! я постараюсь поверить им, или же обмануть себя — это одно и то же. Знаете, что я перечитываю то, что написал, и стыжусь их сентиментального тона... что скажет... (фр.).

[18] «Пишите мне, да побольше, и вдоль, и поперек, и по диагонали» (фр.)

[19] «Не правда ли, что в письмах я гораздо любезнее, чем в натуре? Но приезжайте в Тригорское, и я обещаю вам, что буду необыкновенно любезен. Я буду весел в понедельник, экзальтирован во вторник, нежен в среду, проворен и ловок в четверг, пятницу, субботу и воскресенье — я буду всем, чем вы прикажете, и целую неделю у ваших ног». Прощайте. 28 августа (фр.).

самое любезное из всех прочих, так он был признателен за Байрона! Не воздержусь, чтобы не выписать вам его здесь:

«Je ne m'attendais guère, enchanteresse, à votre souvenir, c'est du fond de mon âme, qui je vous en remercie. Byron vient d'acquérir pour moi un nouveau charme — toutes ses héroines vont revêtir dans mon imagination des traits qu'on ne peut oublier. C'est vous que je verrai dans Gulnare et dans Leila — l'idéal de Byron lui même ne pouvait être plus divin. C'est donc vous, c'est toujours vous que le sort envoie pour enchanter ma solitude! Vous êtes l'ange de consolation — mais je ne suis qu'un ingrat, puisque je murmure encore... Vous allez à Pétersbourg, mon exil me pèse plus que jamais. — Peut être que le changement qui vient d'arriver me repprochera de vous, je n'ose l'espérer. Ne croyons pas à l'espérance, ce n'est qu'une jolie femme, elle nous traite en vieux maris. Que fait le vôtre, mon doux génie? — Savez que s'est sous ses traits que je m'imagine les ennemis de Byron, y compris sa femme. 8 décembre.

Je reprends la plume pour vous dire que je suis à vos genoux, que je vous aime toujours, que je vous déteste quelquefois, qu'avant-hier j'ai dit de vous des horreurs, que je vous baise vos belles mains, que je les rebaise encore en attendant mieux, que je n'en peux plus, que vous êtes divine etc.»[20].

---

[20] Я никак не ожидал, что вы вспомните обо мне, — и благодарю вас за это от всей души. Теперь Байрон получил в глазах моих новую прелесть, и все героини его примут в воображении моем те черты, которых нельзя позабыть. В Гюльнаре и Лейле я буду видеть вас... Итак, вы, опять вы посылаетесь мне судьбой и проливаете очарование на мое уединение,— вы, ангел утешения... Но я неблагодарный — потому что смею еще роптать... Вы едете в Петербург — теперь мое изгнание тяжелее для меня, чем когда-либо.— Может быть, недавно случившаяся перемена сблизит меня с вами — но я не смею надеяться на это. — Надежде нельзя верить: она — хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем... Кстати, моя милая фея, что делает ваш? Знаете ли, что в его образе я представлял себе всех врагов Байрона, в том числе и жену его? 8 декабря.

Я снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, а подчас ненавижу, что третьего дня я рассказывал о вас ужасные вещи, что я целую ваши прекрасные ручки, и снова целую их, в ожидании больших благ, — что положение мое невыносимо, что вы божественны и пр. и пр. и пр. (фр.).

С Пушкиным я опять увиделась в Петербурге, в доме его родителей, где я бывала почти всякий день, и куда он приехал из своей ссылки в 1827 году, прожив в Москве несколько месяцев. Он был тогда весел, но чего-то ему недоставало. Он как будто не был так доволен собою и другими, как в Тригорском и Михайловском. Я полагаю, что император Александр I, заставляя его жить долго в Михайловском, много содействовал к развитию его гения. Там, в тиши уединения, созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась. Друзья не покидали его в ссылке. Некоторые посещали его, а именно: Дельвиг, Баратынский и Языков, а другие переписывались с ним, и он приехал в Петербург с богатым запасом выработанных мыслей.

Тотчас по приезде он усердно начал писать, и мы его редко видели. Он жил в трактире Демута, его родители на Фонтанке, у Семеновского моста, я с отцом и сестрою близ Обухова моста, и он иногда заходил к нам, отправляясь к своим родителям. Мать его, Надежда Осиповна, горячо любившая детей своих, гордилась им и была очень рада и счастлива, когда он посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду печеным картофелем, до которого Пушкин был большой охотник. В год возвращения его из Михайловского именины свои праздновал он в доме родителей, в семейном кружку и был очень мил. Я в этот день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности. После обеда Абрам Сергеевич Норов, подойдя ко мне с Пушкиным, сказал: «Неужели вы ему сегодня ничего не подарили, а он так много вам писал прекрасных стихов?» — «И в самом деле, — отвечала я, — мне бы надо подарить вас чем-нибудь: вот вам кольцо моей матери, носите его на память обо мне». Он взял кольцо, надел на свою маленькую, прекрасную ручку и сказал, что даст мне другое. В этот вечер мы говорили о Льве Сергеевиче, который в то время служил

на Кавказе, и я, припомнив стихи, написанные им ко мне, прочитала их Пушкину.

Вот они:

Как можно не сойти с ума,
Внимая вам, на вас любуясь;
Венера древняя мила,
Чудесным поясом красуясь,
Алкмена, Геркулеса мать,
С ней в ряд, конечно, может стать,
Но, чтоб молили и любили
Их так усердно, как и вас,
Вас спрятать нужно им от нас,
У них вы лавку перебили!

А. Пушкин

Пушкин остался доволен стихами брата и сказал очень наивно: «И он *тоже* очень умен». Il a aussi beaucoup d'esprit!»

На другой день Пушкин привез мне обещанное кольцо с тремя бриллиантами и хотел было провести у меня несколько часов; но мне нужно было ехать с графинею Ивелич, и я предложила ему прокатиться к ней в лодке. Он согласился, и я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Тригорском. Он шутил с лодочником, уговаривая его быть осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Веневитинове, и он сказал: «Pourquoi l'avez vous laissé mourir? Il était aussi amoureux de vous, n'est ce pas?»[21] На это я отвечала ему, что Веневитинов оказывал мне только нежное участие и дружбу и что сердце его давно уже принадлежало другой. Тут, кстати, я рассказала ему о наших беседах с Веневитиновым, полных той высокой чистоты и нравственности, которыми он отличался; о желании его нарисовать мой портрет и

[21] Отчего вы позволили ему умереть? Он ведь тоже был влюблен в вас, не правда ли?» (фр.).

о моей скорби, когда я получила от Хомякова его посмертное изображение. Пушкин слушал мой рассказ внимательно, выражая только по временам досаду, что так рано умер чудный поэт... Вскоре мы пристали к берегу, и наша беседа кончилась.

Коснувшись светлых воспоминаний о Веневитинове, я не могу воздержаться, чтобы не выписать стихов Дельвига, написанных на смерть его в моем черном альбоме, рядом с портретом Веневитинова: они напоминают прекрасную душу так рано оставившего нас поэта.

НА СМЕРТЬ ВЕНЕВИТИНОВА

Дева

Юноша милый! на миг ты в наши игры вмешался.
Розе подобный красой, как филомела ты пел.
Сколько любовь потеряла в тебе поцелуев и песен,
Сколько желаний и ласк новых, прекрасных, как ты!

Роза

Дева, не плачь! я на прахе его в красоте расцветаю.
Сладость он жизни вкусив, горечь оставил другим.
Ах! и любовь бы изменою душу певца отравила!
Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой.

Зимой 1828 года Пушкин писал *Полтаву* и, полный ее поэтических образов и гармонических стихов, часто входил ко мне в комнату, повторяя последний, написанный им стих; так, он раз вошел, громко произнося:

Ударил бой, Полтавский бой!

Он это делал всегда, когда его занимал какой-нибудь стих, удавшийся ему, или почему-нибудь запавший ему в душу. Он, напр., в Тригорском беспрестанно повторял:

Обманет, не придет она!..

Посещая меня, он рассказывал иногда о своих беседах с друзьями и однажды, встретив у меня Дельвига с женою, передал свой разговор с Крыловым, во время которого, между прочим, был спор о том, можно ли сказать: *бывывало*? Кто-то заметил, что можно даже сказать *бывывывало*. «*Очень можно*, — проговорил Крылов, — *да только этого и трезвому не выговорить*!»

Рассказав это, Пушкин много шутил. Во время этих шуток ему попался под руку мой альбом — совершенный слепок с того уездной барышни альбома, который описал Пушкин в Онегине, и он стал в нем переводить французские стихи на русский язык и русские на французский.

В альбоме было написано:

Oh, si dans L'immortelle vie
Il existait un etre parfait.
Oh, mon aimable et douce amie,
Comme toi sans doute il est fait etc., etc.

Пушкин перевел:

Если в жизни поднебесной
Существует дух прелестный,
То тебе подобен он,
Я скажу тебе резон:
Невозможно!

Под какими-то весьма плохими стихами было написано: «Ecrit dans mon exil»[22]. Пушкин приписал:

Amour, exil[23] —
Какая гиль!

[22] Написано в моем изгнании (фр.).
[23] Любовь, изгнание (фр.).

Дмитрий Николаевич Барков написал одни, всем известные стихи не совсем правильно, и Пушкин, вместо перевода, написал следующее:

Не смею вам стихи Баркова
Благопристойно перевесть
И даже имени такова
Не смею громко произнесть!

Так несколько часов было проведено среди самых живых шуток, и я никогда не забуду его игривой веселости, его детского смеха, которым оглашались в тот день мои комнаты.

В подобном расположении духа он раз пришел ко мне и, застав меня за письмом к меньшой сестре моей в Малороссию, приписал в нем:

Когда помилует нас бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног,
В тени украинских черешен.

В этот самый день я восхищалась чтением его *Цыган* в Тригорском и сказала: «Вам бы следовало, однако ж, подарить мне экземпляр Цыган в воспоминание того, что вы их мне читали». Он прислал их в тот же день, с надписью на обертке всеми буквами: *Ее Превосходительству А. П. Керн от господина Пушкина, усердного ее почитателя. Трактир Демут, № 10.*

Несколько дней спустя он приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится у меня как святыня), написал на какой-то записке:

Я ехал к вам. Живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Осеребрял мой бег ретивый.

Я ехал прочь. Иные сны...
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло!

Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты,
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.

Писавши эти строки и напевая их своим звучным голосом, он, при стихе:

И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло! —

заметил, смеясь: «Разумеется, с левой, потому что ехал назад!»

Это посещение, как и многие другие, полно было шуток и поэтических разговоров.

В это время он очень усердно ухаживал за одной особой, к которой были написаны стихи: «Город пышный, город бедный...» и «Пред ней, задумавшись, стою...». Несмотря, однако ж, на чувство, которое проглядывает в этих прелестных стихах, он никогда не говорил об *ней* с нежностью и однажды, рассуждая о маленьких ножках, сказал: «Вот, например, у *ней* вот какие маленькие ножки, да черт ли в них?» В другой раз, разговаривая со мною, он сказал: «Сегодня Крылов просил, чтобы я написал *что-нибудь* в ее альбом». — «А вы что сказали?» — спросила я. «А я сказал: Ого!» В таком роде он часто выражался о предмете своих воздыханий.

Когда Дельвиг с женою уехали в Харьков, я с отцом и сестрою перешла на их квартиру. Пушкин заходил к нам узнавать о них и раз поручил мне переслать стихи к Дельвигу, говоря: «*Да смотрите, сами не читайте и не заглядывайте*».

Я свято это исполнила и после уже узнала, что они состояли в следующем:

Как в ненастные дни, собирались они
Часто.
Гнули, бог их прости, от пятидесяти
На сто.
И отписывали, и приписывали
Мелом.
Так в ненастные дни, занимались они
Делом.

Эти стихи он написал у князя Голицына, во время карточной игры, *мелом на рукаве*. Пушкин очень любил карты и говорил, что это его единственная привязанность. Он был, как все игроки, суеверен, и раз, когда я попросила у него денег для одного бедного семейства, он, отдавая последние 50 руб., сказал: «*Счастье ваше, что я вчера проиграл*».

По отъезде отца и сестры из Петербурга я перешла на маленькую квартирку в том же доме, где жил Дельвиг, и была свидетельницею свидания его с Пушкиным. Последний, узнавши о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия; они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях.

В эту зиму Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его: Лангер, князь Эристов, Яковлев, Комовский и Илличевский[24].

---

[24] Илличевский написал мне следующее послание:

Близ тебя в восторге нем,
Пью отраду и веселье,
Без тебя я жадно ем
Фабрики твоей изделье*.
Ты так сладостно мила,
Люди скажут: небылица,
Чтоб тебя подчас могла

Кроме этих, приходили на вечера: Подолинский, Щастный, молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг, как патриарх. Иногда также являлся Сергей Голицын и Михаил Иванович Глинка, гений музыки, добрый и любезный человек, как и свойственно гениальному существу.

Тут кстати заметить, что Пушкин говорил часто: «*Злы только дураки и дети*». Несмотря, однако ж, на это убеждение, и он бывал часто зол на словах, но всегда раскаивался. Так, однажды, когда он мне сказал какую-то злую фразу, и я ему заметила: «Ce n'est pas blen de s'attaquer à une personne aussi inoffensive»[25] — обезоруженный моею фразою, он искренно начал извиняться. В поступках он всегда был добр и великодушен.

На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич. Вот кто был постоянно любезен и приятен. Какое бесподобное существо! Нам было всегда весело, когда он приезжал. Не помню, встречался ли он часто с Пушкиным, но знаю, что Пушкин и Дельвиг его уважали и любили. Да что мудреного? Он был так

Мне напоминать горчица. —
Без горчицы всякий стол
Мне теперь сухоеденье;
Честолюбцу льстит престол —
Мне ж — горчичницей владенье.
Но угодно так судьбе,
Ни вдова ты, ни девица,
И моя любовь к тебе
После ужина горчица.

Он называл меня:

Сердец царица,
Горчичная мастерица!

*Отец мой имел горчичную фабрику (*Прим. А. П. Керн*)

[25] «Нехорошо нападать на такого беззащитного человека» (фр.).

мягок, благодушен, так ласково приноровлялся ко всякому, что все были от него в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал нам сказки, которые он тут же сочинял, и был занимателен для всех и каждого.

Сказки в нашем кружке были в моде, потому что многие из нас верили в чудесное, в привидения и любили все сверхъестественное. Среди таких бесед многие из тогдашних писателей читали свои произведения. Так, например, Щастный читал нам *Фариса*, переведенного им тогда, и заслужил всеобщее одобрение. За этот перевод Дельвиг очень благоволил к нему, хотя вообще Щастный как поэт был гораздо ниже других второстепенных писателей. Среди этих последних видное место занимал Подолинский, и многими его стихами восхищался Пушкин. Особенно нравились ему следующие:

ПОРТРЕТ

Когда, стройна и светлоока,
Передо мной стоит она,
Я мыслю: Гурия Пророка
С небес на землю сведена.
Коса и кудри темно-русы,
Наряд небрежный и простой,
И на груди роскошной бусы
Роскошно зыблются порой.
Весны и лета сочетанье
В живом огне ее очей
Рождают негу и желанье
В груди тоскующей моей.

И окончание стихов под заглавием: «*К ней*»:

Так ночью летнею младенца,
Земли роскошной поселенца,

Звезда манит издалека,
Но он к ней тянется напрасно...
Звезды златой, звезды прекрасной,
Не досягнет его рука.

Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным. В минуты рассеянности он напевал какой-нибудь стих и раз был очень забавен, когда повторял беспрестанно стих барона Розена:

«Неумолимая, ты не хотела жить», —

передразнивая его и голос, и выговор.

Зима прошла. Пушкин уехал в Москву и хотя после женитьбы и возвратился в Петербург, но я не более пяти раз с ним встречалась. Когда я имела несчастие лишиться матери и была в очень затруднительном положении, то Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал, со свойственною ему живостью, по всем соседним дворам, пока наконец нашел меня. В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким же, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме, которая принимала во мне участие; ласкал мою маленькую дочь Ольгу, забавляясь, что она на вопрос: «Как тебя зовут?» — отвечала: «Воля!» — и вообще был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восхищалась им, как гением добра. Пусть этим словом окончатся мои воспоминания о великом поэте.

Воспоминания о Пушкине, Дельвиге, Глинке

То зеркало лишь хорошо,
которое верно отражает.

При воспоминании прошедшего я часто и долго останавливаюсь на том времени, которое ознаменовалось поэтическою деятельностью Пушкина и отметилось в жизни общества страстью к чтению, литературным занятиям и, если не ошибаюсь, необыкновенною жаждою удовольствий. И тогда снова оживает передо мною доброе старое время, кипевшее избытком молодых сил. Я вижу веселый, беспечный кружок поэтов той эпохи, живший грезами о счастье и по возможности избегавший тягости труда. Из него выделяются в моем воспоминании с особенною ясностью: Пушкин, Дельвиг и Глинка.

Художественные создания Пушкина, развивая в обществе чувство к изящному, возбуждали желание умно и шумно повеселиться, а подчас и покутить. Весь кружок даровитых писателей и друзей, группировавшихся около Пушкина, носил на себе характер беспечного, любящего пображничать русского барина, быть может, еще в большей степени, нежели современное ему общество. В этом молодом кружке преобладала любезность и раздольная, игривая веселость, блестело неистощимое остроумие, высшим образцом которого был Пушкин. Но душою всей этой счастливой семьи поэтов был Дельвиг, у которого в доме чаще всего они и собирались.

Дельвиг соединял в себе все качества, из которых слагается симпатичная личность. Любезный, радушный хозяин, он умел счастливить всех, имевших к нему доступ.

Благодаря своему истинно британскому юмору он шутил всегда остроумно, не оскорбляя никого. В этом отношении Пушкин резко от него отличался: у Пушкина часто

проглядывало беспокойное расположение духа. Великий поэт не был чужд странных выходок, нередко напоминавших фразу Фигаро: «Ah, qu'ils sont bêtes les gens d'esprit»[26], и его шутка часто превращалась в сарказм, который, вероятно, имел основание в глубоко возмущенном действительностию духе поэта. Это маленькое сравнение может объяснить, почему Пушкин не был хозяином кружка, увлекавшегося его гением. Не позволяя себе дальнейшей параллели между характерами двух друзей, перехожу к моим воспоминаниям о Дельвиге, в которых коснулся также нескольких случаев из жизни Пушкина и Глинки, нашего гениального композитора.

Мы никогда не видали Дельвига скучным или неприязненным к кому-либо. Может быть, та же самая любовь спокойствия, которая мешала ему быть деятельным, делала его до крайности снисходительным ко всем, и даже в особенности к слугам. Они обращались с ним запанибрата, и, что бы ни сделали они, вместо выражений гнева Дельвиг говорил только «забавно». Но очень может быть, что причина его снисходительности к служащим ему людям была разумнее и глубже и заключалась в терпимости, даже в великодушии.

Дельвиг любил доставлять другим удовольствия и мастер был устраивать их и изобретать. Не помню, чтобы он один или с женою езжал когда-нибудь на балы или танцевальные вечера; но зато любил загородные поездки, катанья экспромтом или же ужин дома с хорошим вином, которым любил потчевать дам, посмеиваясь, что действие вина всегда весело и благодетельно. Между многими катаньями за город мне памятна одна зимняя поездка в Красный Кабачок, куда Дельвиг возил нас на вафли. Мы там нашли совершенно пустую залу и одну бедную девушку, арфянку, которая чрезвычайно обрадовалась нашему посещению и пела нам с особенным усердием. Под звуки ее арфы мы протанцевали мазурку и, освещенные луною, воз-

[26] «Ах, как они глупы, эти умные люди» (фр.).

вратились домой. В катанье участвовали, кроме Дельвига, жены его и меня, Сомов, всегда интересный собеседник и усердный сотрудник Дельвига по изданию «Северные цветы», и двоюродный брат мой А. Н. Вульф.

Кроме прелести неожиданных импровизированных удовольствий, Дельвиг любил, чтобы при них были и хорошее вино, и вкусный стол. Он с детства привык к хорошей кухне; эта слабость вошла у него в привычку. Любя хорошо поесть, он избегал обедов у хозяев не гастрономов; так, однажды, по случаю обеда у Пушкиных, не любивших роскошного стола, он написал Александру Сергеевичу шуточное четверостишие, которое начинается так:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать...

Юмор Дельвига, его гостеприимство и деликатность часто наводили меня на мысль о Вальтер Скотте, с которым, казалось мне, у него было сходство в домашней жизни. В его поэтической душе была какая-то детская ясность, сообщавшая собеседникам безмятежное чувство счастья, которым проникнут был сам поэт. Этой особенностью Дельвига восхищался Пушкин. Прочитав в Одессе романс Дельвига «Прекрасный день, счастливый день, и солнце и любовь...», в котором так много ясности и счастья, он говорил, что прочувствовал вполне это младенческое излияние поэтической души Дельвига и что самое стихосложение этого романса верно передало ему всю светлость чистого чувства любви поэта. Он восхищался притом другими пьесами Дельвига, равно как и поэзией Баратынского. Эти три поэта были связаны глубокой симпатией. Баратынский присылал Дельвигу свои сочинения до отсылки в печать, и последний отдавал их переписывать жене. Баратынский никогда не ставил знаков препинания, кроме запятой; Дельвиг знал эту особенность своего друга и, отдавая жене стихи его, всегда говорил:

«Пиши, Сонинька, *до точки*». Дельвиг рассказывал однажды, будто Баратынский спрашивал у него: «Что называешь ты родительным падежом?»

Дельвиг жил на Владимирской улице, в доме Кувшинникова, ныне Олферовского. По утрам он обыкновенно занимался в своем маленьком кабинете, отделенном от передней простою из зеленой тафты перегородкой. В этом кабинетике случилось однажды несчастие с песнями Беранже: их разорвал маленький щенок тернёв, и Дельвиг воспел это несчастие в юмористических стихах, из которых, к сожалению, я помню только следующие:

Хвостова кипа тут лежала,
А Беранже не уцелел!
За то его собака съела,
Что в песнях он собаку съел.

Эта песня была включена в репертуар, который распевали мы у него по вечерам целым хором. Два раза в неделю собирались к нему лицеисты — товарищи и друзья. Как веселы бывали эти беседы!..

Одно время я занимала маленькую квартиру в том же доме. Софья Михайловна, жена Дельвига, приходила по утрам в мой кабинет заниматься корректурою «Северных цветов»; потом мы вместе читали, работали и учились итальянскому языку у г. Лангера, тоже лицеиста. Остальную часть дня я проводила в семействе Дельвига. У них собирались не с одною только целью беседовать, но и читать что-нибудь новое, написанное посетителями, и услышать мнение Дельвига, пользовавшегося репутацией проницательного и беспристрастного ценителя. Во всем кружке была родственная простота и симпатия; дружба, шутка и забавные эпитеты, которые придавались чуть не каждому члену маленькой республики, могут служить характеристикою этой детски веселой семьи.

Однажды Дельвиг и его жена отправились, взяв с собою и меня, к одному знакомому ему семейству; представляя жену, Дельвиг сказал: «Это моя жена», и потом, указывая на меня: «А это вторая». Шутка эта получила право гражданства в нашем кружке, и Дельвиг повторил ее, надписав на подаренном мне экземпляре поэмы Баратынского «Бал»: «Жене № 2-й от мужа безномерного». Кроме этого подарка на память, он написал в мой альбом свои стихи: «Дева и Роза» и «На смерть Веневитинова». В семье Дельвига я чувствовала себя как дома, а когда они уехали в Харьков, баронесса пересылала мне экспромты Дельвига. Из числа их я помню следующий:

Я в Курске, милые друзья,
И в Полторацкого таверне
Живее вспоминаю я
О деве Лизе, даме Керне!

Преданный друзьям, Дельвиг в то же время был нежен и к родным. Я помню, как ласкал он своих маленьких братьев, семи — и восьмилетних малюток, выписав их вскоре по возвращении своем из Харькова. Старшего, Александра, он звал классиком, а меньшего, Ивана, романтиком и под этими именами представил их однажды Пушкину. Александр Сергеевич нежно ласкал их, и когда Дельвиг объявил, что меньшой уже сочинил стихи, он пожелал их услышать, и малютка-поэт, не конфузясь нимало, медленно и внятно произнес, положив обе ручонки в руки Пушкина:

Индиянди, Индиянди, Индия!
Индиянда! Индиянда! Индия!

Александр Сергеевич, погладив поэта по голове, поцеловал и сказал: «Он точно романтик».

Дружба Пушкина с Дельвигом так тесно соединяла их, что, вспоминая о последнем, нельзя умолчать о Пушкине,

завоевавшем себе внимание всего кружка и бывшем часто предметом разговоров и даже переписки его дружных членов; так, например, незадолго до женитьбы Пушкина Софья Михайловна Дельвиг писала ко мне с дачи в город: «Léon est parti hier (он приезжал тогда с Кавказа). Александр Сергеевич est arrivé hier. Il est, dit-on, plus amoureux que jamais, cependant il ne parle presque pas d'elle. La noce se fera en septembre»[27].

Действительно, в этот период, перед женитьбою своей, Пушкин казался совсем другим человеком. Он был серьезен, важен, молчалив, заметно было, что его постоянно проникало сознание великой обязанности счастливить любимое существо, с которым он готовился соединить свою судьбу, и, может быть, предчувствие тех неотвратимых обстоятельств, которые могли родиться в будущем от серьезного и нового его шага в жизни и самой перемены его положения в обществе. Встречая его после женитьбы всегда таким же серьезным, я убедилась, что в характере поэта произошла глубокая, разительная перемена. Но мои воспоминания в доме Дельвига относятся более ко времени первой беспечной поры жизни Пушкина. Помню, как он, узнав о возвращении Дельвига из Харькова и спеша обнять его, вбежал на двор; помню его развевающийся плащ и сияющее радостью лицо... Другое воспоминание мое о Пушкине относится к свадьбе сестры его. Дельвиг был тогда в отлучке. В его квартире я с Александром Сергеевичем встречала и благословляла новобрачных. Расскажу подробно это обстоятельство.

Мать Пушкина, Надежда Осиповна, вручая мне икону и хлеб, сказала: «Remplacez moi, chère amie, avec cette image, que je vous confie pour bénir ma fille!»[28]

---

[27] «Лев уехал вчера... Александр Сергеевич вернулся вчера. Говорят, влюблен больше, чем когда-нибудь, между тем почти не говорит о ней. Свадьба будет в сентябре» (фр.).

[28] «Замените меня, мой друг, вручаю вам образ, благословите им мою дочь!» (фр.).

Я с любовью приняла это трогательное поручение и, расспросив о порядке обряда, отправилась вместе с Александром Сергеевичем в старой фамильной карете его родителей на квартиру Дельвига, которая была приготовлена для новобрачных. Был январь месяц, мороз трещал страшный, Пушкин, всегда задумчивый и грустный в торжественных случаях, не прерывал молчания. Но вдруг, стараясь показаться веселым, вздумал заметить, что еще никогда не видал меня одну: «Voilà pourtant la première fois, que nous sommes seuls, madame»[29]: мне показалось, что эта фраза была внушена желанием скрыть свои размышления по случаю важного события в жизни нежно любимой им сестры; а потому, без лишних объяснений, я сказала только, что этот необыкновенный случай отмечен сильным морозом. «Vous avez raison, 27 degrés»[30], — повторил Пушкин, плотнее закутываясь в шубу. Так кончилась эта попытка завязать разговор и быть любезным. Она уже не возобновилась во всю дорогу. Стужа давала себя чувствовать, и в квартире Дельвига, долго дожидаясь приезда молодых, я прохаживалась по комнате, укутываясь в кацавейку; по поводу ее Пушкин сказал, что я похожа в ней на царицу Ольгу. Поэт старался любезностью и вниманием выразить свою благодарность за участие, принимаемое мною в столь важном событии в жизни его сестры.

Он всегда сочувствовал великодушному порыву добрых стремлений. Так, однажды отец госпожи Н., рассказывая Пушкину про случай с одним семейством, при котором необходимо было присутствие близкого человека, осуждал неблагоразумную чувствительность своей дочери, которая прямо с постели, накинув салоп, побежала к нуждавшимся в ее помощи, сказал: «И эта дура, несмотря на морозную ночь, в одной почти рубашке побежала через Фонтанку!»

---

[29] «А ведь мы с вами в первый раз вдвоем, сударыня» (фр.).

[30] «Вы правы, 27 градусов» (фр.).

Пушкин сидел на диване, поджав ноги; услышав этот рассказ, он вскочил и, схватив обе руки у госпожи П., с жаром поцеловал их. Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное и глубокое чувство, им внушенное. Сам он почти никогда не выражал чувств; он как бы стыдился их и в этом был сыном своего века, про который сам же сказал, что *чувство было дико и смешно*. Острое красное словцо — la repartie vive — вот что несказанно тешило его. Впрочем, Пушкин увлекался не одними остротами; ему, например, очень понравилось однажды, когда я на его резкую выходку отвечала выговором: «Pourquoi vous attaquez à moi, qui suis si inoffensive!»[31] И он повторял: «Comme c'est réellement cela: si inoffensive!»[32] Продолжая далее, он заметил: «Да, с вами не весело и ссориться, voilà votre cousine, avec elle on trouve à qui s'en prendre!»[33]

Причина того, что Пушкин скорее очаровывался блеском, нежели достоинством и простотою в характере женщин, заключалась, конечно, в его невысоком о них мнении, бывшем совершенно в духе того времени. При этом мне пришла на память еще одна забавная сцена, разыгранная Пушкиным в квартире Дельвига, занимаемой мною с семейством по случаю отсутствия хозяев. Сестра его и я сидели у окна, читая книгу. Пушкин подсел ко мне и, между прочими нежностями, сказал: «Дайте ручку, c'est si satin!», я отвечала: «Satan!»[34] Тогда сестра поэта заметила, что не понимает, как можно отказывать просьбам Пушкина, что так понравилось поэту,

---

[31] «Зачем вы на меня нападаете, ведь я такая безобидная!» (фр.).

[32] «Как это верно сказано: действительно, такая безобидная!» (фр.).

[33] то ли дело ваша кузина, вот тут есть с кем ссориться! (фр.).

[34] «Настоящий атлас!» — «Сатана!» (Игра слов: satin — атлас, satan — сатана (фр.).

что он бросился перед нею на колени; в эту минуту входит А. Н. Вульф и хлопает в ладоши... Сюда же можно отнести и отзыв поэта о постоянстве в любви, которою он, казалось, всегда шутил, как и поцелуем руки; но это, по всей вероятности, было притворною данью веку... Однажды, говоря о женщине, которая его страстно любила, он сказал: «Et puis vous savez qu'il n'y a rien de si insipide que la patience et la résignation»[35]. Но, как я уже заметила, женитьба произвела в характере поэта глубокую перемену. С того времени он на все смотрел серьезнее, а все-таки остался верен привычке своей скрывать чувство и стыдиться его. В ответ на поздравление с неожиданною способностью женатым вести себя как прилично любящему мужу, он шутя отвечал: «Je ne suis qu'un hypocrite»[36]. После женитьбы я видела его раз у его родителей во время их обеда. Он сидел за столом, но ничего не ел. Старики потчевали его то тем, то другим кушаньем, но он от всего отказывался, и, восхищаясь аппетитом своего батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему, предлагая гуся с кислою капустою: «C'est un plat écossais!»[37], заметив при этом, что он никогда ничего не ест до обеда, а обедает в 6 часов. Быв холостым, он редко обедал у родителей, а после женитьбы почти никогда. Когда же это случалось, то после обеда на него иногда находила хандра. Однажды в таком мрачном расположении духа он стоял в гостиной у камина, заложив назад руки... Подошел к нему Илличевский и сказал:

У печки погружен в молчаньи,
Поднявши фрак, он спину грел,
И никого во всей компаньи
Благословить он не хотел.

---

[35] «И потом, знаете ли, нет ничего безвкуснее долготерпения и самоотверженности» (фр.).

[36] «Я просто хитер» (фр.).

[37] «Это шотландское блюдо» (фр.).

Это развеселило Пушкина, и он сделался очень любезен. Потом я его еще раз встретила с женою у родителей, незадолго до смерти матери. Она уже тогда не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам; Пушкины сидели рядом на маленьком диване у стены. Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовью; а Александр Сергеевич, не спуская глаз с матери, держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как бы выражая тем ласку к жене и ласку к матери; он при этом ничего не говорил.

Кроме Пушкина, еще один из друзей Дельвига, еще одна симпатичная личность влечет к себе мои воспоминания. Это наш поэт-музыкант Глинка; я познакомилась с ним в 1826 году.

В это время еще немногие живали летом на дачах. Проводившие его в Петербурге любили гулять в Юсуповом саду, на Садовой. Однажды, гуляя там в обществе двух девиц и Александра Сергеевича Пушкина, я встретила генерала Базена, моего хорошего знакомого. Он пригласил нас к себе на чай и при этом представил мне Глинку, говоря: «Je ne vous promets pas d'excellent thé, car je ne m'y connais quère, mais un accompagnement délicieux: vous entendrez Glinka, un de nos premièrs pianistes».[38] Тогда молодой человек, шедший в стороне, сделал шаг вперед, грациозно поклонился и пошел подле Пушкина, с которым был уже знаком и прежде. Лишь только мы вошли в квартиру Базена, очень просто меблированную, и уселись на диван, хозяин предложил Глинке сыграть что-нибудь. Нашему хозяину очень хотелось, чтобы Глинка импровизировал, к чему имел гениальные способности, а потому Базен просил нас дать тему для предполагаемой импровизации и спеть какую-нибудь русскую или малороссийскую песню. Мы не решались, и сам Базен

---

[38] «Прекрасного чаю обещать не стану, ибо не знаю в нем толку, но зато обещаю чудесное общество: вы услышите Глинку, одного из первых наших пианистов» (фр.).

запел малороссийскую простонародную песню с очень простым мотивом:

Наварила, напекла
Не для Грицки, для Петра;
Ой лих, мой Петрусь,
Бело лично, черноусь!

Глинка опять поклонился своим выразительным, почтительным манером и сел за рояль. Можно себе представить, но мудрено описать мое удивление и восторг, когда раздались чудные звуки блистательной импровизации; я никогда ничего подобного не слыхала, хотя и удавалось мне бывать в концертах Фильда и многих других замечательных музыкантов; но такой мягкости и плавности, такой страсти в звуках и совершенного отсутствия деревянных клавишей я никогда ни у кого не встречала!

У Глинки клавиши пели от прикосновения его маленькой ручки. Он так искусно владел инструментом, что до точности мог выразить все, что хотел; невозможно было не понять того, что пели клавиши под его миниатюрными пальцами.

В описываемый вечер он сыграл, во-первых, мотив, спетый Базеном, потом импровизировал блестящим, увлекательным образом чудесные вариации на тему мотива, и все это выполнил изумительно хорошо. В звуках импровизации слышалась и народная мелодия, и свойственная только Глинке нежность, и игривая веселость, и задумчивое чувство. Мы слушали его, боясь пошевелиться, а по окончании оставались долго в чудном забытьи.

Впоследствии Глинка бывал у меня часто; его приятный характер, в котором просвечивалась добрая, чувствительная душа нашего милого музыканта, произвел на меня такое же глубокое и приятное впечатление, как и музыкальный талант его, которому равного до тех пор я не встречала.

Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою: «Я помню чудное мгновенье...», чтоб положить их на музыку, да

и затерял их, бог ему прости! Ему хотелось сочинить на эти слова музыку, вполне соответствующую их содержанию, а для этого нужно было на каждую строфу писать особую музыку, и он долго хлопотал об этом.

Из числа моих знакомых Глинка посещал П<ушки>ных, бывал у Базена, своего доброго начальника, и у барона Дельвига, большого любителя музыки и почитателя Глинки. Там он часто услаждал весь наш кружок своими дивными вдохновениями. К нему присоединялись иногда князь Сергей Голицын, М. Л. Яковлев, а иногда и все мы хором пели какой-нибудь канон, бравурный модный романс или баркаролу. Для тех, которые не знали коротко Глинки, скажу, что он был один из приятнейших и вместе добродушнейших людей своего времени, и хотя никогда не прибегал к злоречию насчет ближнего, но в разговоре у него было много веселого и забавного. Его ум и сердечная доброта проявлялись в каждом слове, поэтому он всегда был желанным и приятным гостем, даже без музыки. В этом отношении он мог подать руку своему почтенному покровителю и начальнику Базену, отличавшемуся в своем тесном, дружеском кружке самою доброжелательной любезностью.

Сообществом их обоих и умной задушевной беседой дорожили все их друзья и знакомые. Глинка был чрезвычайно нервный, чувствительный человек, и ему было всегда то холодно, то жарко, чаще всего грустно, так что маленькая дочь моя иначе не называла его, как «Миша Глинка, которому грустно». Являясь ко мне, он просил иногда позволения надеть мою кацавейку и расхаживал в ней, как в мантии, или, бывало, усаживался в угол на диване, поджавши ножки. Летом, кажется, в 1830 году, когда я жила вместе с Дельвигом на даче у Крестовского перевоза, Глинка бывал у нас очень часто и своею веселостью вызывал на разные parties de plaisir[39]. Под

[39] Увеселительные прогулки (фр.).

таким влиянием однажды Дельвигу, любившему доставлять себе и другим удовольствия, часто весьма замысловатые, вздумалось совершить прогулку целым обществом на Иматру. Не долго размышляя, а по-русски: вздумано, сделано! — мы проворно собрались в дорогу, отыскали напрокат допотопную линейку с черным кожаным фартуком и таким же верхом на столбиках; в одно прекрасное июньское утро уселись в нее, по возможности комфортабельно, и поехали.

Общество наше состояло из барона Дельвига, жены его, постоянного нашего посетителя Ореста Михайловича Сомова и меня. При баронессе была ее горничная. Подорожная для предотвращений задержки в лошадях была взята на мое имя, как генеральши, а барон и прочие играли роль будущих. Глинка, без которого нам не хотелось наслаждаться удовольствиями этого путешествия, но которого задерживали на время дела, не мог выехать вместе с нами и должен был нас догнать на половине дороги. Мудрено было придумать для приятного путешествия условия лучше тех, в каких мы его совершили: прекрасная погода, согласное, симпатичное общество и экипаж, как будто нарочно приспособленный к необыкновенно быстрой езде по каменистой гладкой дороге, живописно извивающейся по горам, над пропастями, озерами и лесами вплоть до Иматры, делали всех нас чрезвычайно веселыми и до крайности довольными. Конечно, дребезжание экипажа и слишком шибкая езда (по 20 верст в час) не позволяли нам разговаривать, но это и не предстояло большой необходимости. Очаровательные пейзажи, один за другим сменяющиеся то с одной, то с другой стороны линейки, возбуждали в нас такое восхищение, которое только и может быть выражено коротенькими восторженными восклицаниями, — и мы беспрестанно высказывали свои впечатления возгласами: «Ах, посмотрите, какая прелесть!», «А это-то, по моей стороне — чудо! Какая роща! Какая удивительная трава!» — и проч.

Одна картина сменяла другую, и каждая в своем роде отличалась красотою. Тут являлась между скалистыми уступами мрачная пропасть, там овраг, увенчанный и усыпанный цветами и ягодами, а впереди нас, и сбоку, и над головами выдвигались и висели целые утесы. Так, по дороге гладкой, как стол, мчались мы, окрыленные радостными мыслями, упоенные красотами горной природы! Глинка сдержал свое слово и догнал нас на половине пути; он приехал со своим товарищем, с которым жил на одной квартире, молодым человеком, очень сентиментальным.

Так как мы все не могли поместиться в линейке, то двое из нас, исключая, однако же, меня и Дельвига, самых ленивых из всей компании, по очереди ехали в чухонской тележке на двух колесах. Кроме поэтического настроения путешественников и высокого наслаждения изумительными красотами природы, наше путешествие имело много юмористического от разных дорожных приключений, встреч и смешных анекдотов, случавшихся на пути. К тому же влияние горного воздуха делало нас остроумнее, любезнее, и мы пользовались всем, чтоб посмеяться и пошутить. Барона Дельвига я никогда не видала таким милым и счастливым, а Глинка совсем забыл, что ему бывает грустно.

Лишь только мы выехали из Петербурга, как и начали смеяться; ямщик, везший нас до первой станции, на каждом повороте обращался к нам с вопросом — куда ехать? И когда мы спросили у него, как же он нанялся везти и не знает, куда ехать, он отвечал: «Так точно, я с тем и взялся, что не знаю куда». На границе уезда таможенный пристав осматривал наш багаж (которого, разумеется, не было: мы ехали на одни сутки), и я спросила у него, как зовут его начальника, офицера. Он сказал какое-то имя и отчество, я заметила ему, что не имя, а фамилию офицера я спрашиваю. «А, фамилию? Фамилия его Настасья Ивановна!» Я, разумеется, донесла об этом важном известии моим спутникам, и нам опять было весело

всю следующую станцию; жаль, что я теперь не помню названия всех станций, — а были преинтересные! Особенно смешили нас надписи на почтовых дворах, часто весьма замысловатые. Орест Михайлович Сомов описал это путешествие в «Литературной газете», издаваемой бароном Дельвигом, кажется, в 1830 или 31-м году. Хорошенько не помню. Помню, однако ж, что он, т. е. Сомов, назвал нас, меня и баронессу Дельвиг, «изящными произведениями природы».

Если хотите, можете справиться в «Литературной газете» того времени.

Таким образом, мы приехали в Выборг, город, знаменитый своими кренделями, живописным замком и гостиницею синьора Мотти, у которого мы и остановились. При виде важной осанки спутников ее — то есть моего — превосходительства и такой большой свиты синьор Мотти принял нас с почестями, достойными каких-нибудь владетельных принцесс. Его итальянская напыщенная вежливость, подобострастные манеры и услужливость, несмотря на докуку, смешили нас до слез, а некоторых почти до истерики. Он состряпал нам ужин на славу: все было отлично приготовлено, в заключение же он явился сам с поклоном и с ужимками, ставя на стол два огромные канделябра. Вместе с ним вошла миловидная девушка с корзинкой свежих кренделей и на вопрос: точно ли они выборгские, — простодушно уверяла, что действительно выборгские. Мы долго шутили с Мотти, с нею, наконец, разошлись спать.

Имея привычку не спать летом по ночам, я и эту ночь просидела у окна, любуясь видом на залив, прислушиваясь к плеску тихих волн его и вздрагивая по временам от успокоительных возгласов городского сторожа, вскрикивавшего иногда под самым окном: «Спите, добрые граждане, я вас не бужу!» На заре появился на берегу залива, почти против окна, у которого я сидела, охотник с ружьем, он отвязал челнок и поплыл куда-то за дичью. Этим началась дневная деятельность в городе; вскоре и

наша компания собралась в дорогу и, напившись горячего, отправилась к цели нашей поэтической прогулки.

Пополудни, часу в 4-м или в 5-м, мы услышали гул и шум Иматры и, несмотря что были голодны, испечены солнцем и запылены донельзя, забыли все путевые неудобства; а по предложению барона Дельвига, не доезжая до станции, вышли из экипажа и направились пешком в ту сторону, откуда несся шум водопада, чтоб при ясном дне взглянуть на это чудо природы — на великолепную Иматру. Тропинка, ведущая к водопаду, извивается по густому дикому лесу, и мы с трудом пробирались по ней, беспрестанно цепляясь за сучья. По мере приближения нашего к водопаду его шум и гул все усиливались и наконец, дошли до того, что мы не могли расслышать друг друга; несколько минут мы продолжали подвигаться вперед молча, среди оглушительного и вместе упоительного шума... и вдруг очутились на краю острых скал, окаймляющих Иматру! Пред нами открылся вид ни с чем не сравненный; описать этого поэтически, как бы должно, я не могу, но попробую рассказать просто, как он мне тогда представился, без украшений, тем более что этого ни украсить, ни улучшить невозможно. Представьте себе широкую, очень широкую реку, то быстро, то тихо текущую, и вдруг эта река суживается на третью часть своей ширины серыми, седыми утесами, торчащими с боков ее, и, стесненная ими, низвергается по скалистому крутому скату на пространстве 70 сажен в длину. Тут, встречая препятствия от различной формы камней, она бьется о них, бешено клубится, кидается в стороны и, пенясь и дробясь о боковые утесы, обдает их брызгами мельчайшей водяной пыли, которыми покрывает, как легчайшим туманом, ее берега. Но, с окончанием склона, оканчиваются ее неистовства: она опять разливается в огромное круглое озеро, окаймленное живописным лесом, течет тихо, лениво, как бы усталая; на ней не видно ни волнения, ни малейшей зыби.

При своем грандиозном падении она обтачивает мелкие камешки в разные фантастические фигуры, похожие на зве-

рей, птиц, часы, табакерки и проч. Мы то опускались, то подымались, то прыгали на утесы, орошаемые освежительною пылью, и долго восхищались чудным падением алмазной горы, сверкающей от солнечных лучей разнообразными переливами света. На некоторых береговых камнях написаны были разные имена, и одно из них было милое и нам всем знакомое Евгения Абрамовича Баратынского. Увлекшись подражанием, и мы написали там свои фамилии. Противоположный берег казался нам еще живописнее: там виднелась тропинка, усыпанная песком; тот же, где мы были, был совершенно дик, а потому, не пускаясь вдаль, как предполагали прежде, мы пошли к экипажу, чтоб, поевши чего-нибудь или напившись чаю на станции, переехать на ту сторону реки и уже при луне полюбоваться Иматрою с другого ее берега. Мы так устали от езды и восхищения, что нам необходимо было подкрепиться пищей. На весьма ветхой станции чухонской постройки спросили мы самовар и велели достать чего-нибудь на ужин, приготовить его брались уже мы сами. Но — вообразите себе! — ничего не отыскалось нам на пропитание: ни курицы, ни даже одного яйца! По двору прохаживался весьма старый петух, но его мы не попытались добыть на жаркое; жаль было этой единой живой птицы. На все же наши вопросы касательно других съестных припасов нам говорили нет: яиц — нет, курицы — нет, молока — нет, сливок и подавно нет. Оказалась только *плоховина* (это, изволите видеть, рыба *лоховина*) и нечто вроде кваса, *свадрик*.

Для любителей кваса свадрик может быть очень приятным, даже очень здоровым питьем, потому что в состав его входят можжевеловые ягоды. Итак, не добившись ничего, то есть ровно ничего, для утоления голода, мы решились переехать на ту сторону Боксы, где прямо у пристани красовался довольно большой дом, называемый гостиницей.

Нам сказали, что там найдем мы и готовый обед, и молоко, и все, что угодно. С этой заманчивой перспективою мы поплыли на ту сторону реки в огромной почтовой лодке,

управляемой двумя стариками гребцами — двумя *харонами*. Лодка наша, направляемая их старческими руками, плыла вверх по течению; это было необходимо для того, чтобы ее не отнесло в водопад. Плавание шло медленно, и чем дальше подвигались мы вверх, тем движение становилось тише, потому что быстрота реки усиливалась от близлежащих порогов; наконец, у самих порогов, лодку нашу течением стало нести к тому берегу, где виднелась гостиница; другую половину переправы мы совершили очень скоро и почти без помощи стариков, которые, направив лодку как следует, положили весла и только у пристани взялись за них, чтобы причалить. Приставши к берегу, мы заметили влево от гостиницы прехорошенький домик, и, прежде чем отправиться в знаменитую гостиницу, в которой, несомненно, надеялись найти обед, забыв голод и усталость, мы пошли к домику, чтобы им полюбоваться. И что это был за милый домик! Маленький, уютный, чистенький, осененный свежею зеленью сада, он приветливо выглядывал из окружающих его утесов, покрытых мхами, и манил к себе на ближайшую скалу послушать мелодический шум каскадов, во множестве и в разнообразных видах, прыгающих вокруг него. Наглядевшись на домик, мы пошли, наконец, в гостиницу. «Соловья баснями не кормят», и, после всех восхищений, мы сильно чувствовали пустоту желудка, с самого утра ничем не подкрепленного. В гостинице нашлось несколько комнат со скамейками кругом; в одной из них стоял накрытый стол, а на нем — что бы вы думали? ...селедки, селедки и селедки, приготовленные с молоком, и неизбежная соленая плоховина, плавающая опять-таки в молочном соусе! Прибавьте к этому, что эти кушанья до того были отвратительны на вид, что не только решиться утолить ими голод, но и прикоснуться к ним нам и на ум не приходило. Отыскав после многих поисков живое существо, мы спросили, нет ли молока, — нам отвечали, что есть всякое, даже кислое, мы очень обрадовались, предполагая встретить любимую всеми простоквашу, с которою баро-

несса Дельвиг сравнивала петербургское небо. Но, увы! мы и в этом жестоко обманулись: то была не простокваша, не кислое молоко, а проквашенная, испорченная, заплесневшая зеленоватая гуща с нестерпимым запахом. Хоть бы хлеба достать! но вообразите: эти несчастные и о нем не имеют понятия; я у них не видела хлеба, он заменяется здесь, кажется, соленою и сушеною лоховиною, которую они едят походя: и в пищу, и в лакомство. От этого, я думаю, и зубы у них испорчены, а около углов рта у всех белые пятна. Хотя между чухонцами и встречаются иногда красивые лица, особенно у женщин, но эти болезненные рты очень их портят.

Пока мы искали себе пищи, настал вечер, взошла луна, и мы, запив свой голод чаем, наняли тележки и поехали берегом к Иматре. У самого водопада луна выбралась из облаков и осветила прямо кипящие, бушующие волны! Эффект был неописанный! Иматра, осеребренная ее лучами, казалась чем-то фантастическим; невозможно было оторвать от нее глаз! Долго ходили мы по тропинке, усыпанной песком и грациозно извивающейся между деревьев, над клокочущей пучиной: заманчивость и обаяние такой бездны были невыразимы. В некоторых из нас не шутя на миг мелькало желание броситься в нее. Мы поняли предание о русалках и убедились, что та, которая живет в Иматре, — очаровательна! Сильнее других бездна манила к себе Ореста Михайловича Сомова; отдалясь от нас, он распростерся на одном из выдавшихся утесов и так долго на нем забылся, упиваясь росой и обаянием чарующих волн, что мы насилу могли его дозваться.

Место близ Иматры, во время нашего посещения, было почти в диком состоянии, и если проявлялись кое-где некоторые удобства, то они были так маловажны, что можно было подумать, будто сама природа устроила их. Я слышала, что потом, с нашей легкой руки, вошло в моду ездить любоваться великолепным водопадом, что около него настроили гостиницы, кофейни, разные павильоны и тем отняли всю поэзию

у чудной Иматры, так что никто, никто (мне отрадно это думать) не мог уже восхищаться ее дикими, нетронутыми красотами, как восхищалось наше общество. Правду сказать, что дружное это общество было недюжинное; в него входили: любящий, благородный, истинный поэт в душе Дельвиг и маленький, но чудный Глинка, заимствовавший, вероятно, множество оригинальных мотивов у гармонических, упоительных звуков водопада; наконец, и мы, остальные, чувствовали и понимали глубоко все красоты окрестной природы!

Возвратясь на станцию уже очень поздно, мы напились чаю и пошли спать, да так долго проспали, то есть мы, дамы, и Глинка тоже, что солнце было уже высоко, когда мы вышли на крыльцо и застали барона Дельвига, преважно заседающего за столом, накрытым белою скатертью, перед завтраком привлекательного вида. Он удосужился достать животрепещущую форель и некоторого рода сельдь, по его словам, очень вкусную; благодаря его распорядительности мы наконец могли поесть с удовольствием. Приглашая нас к завтраку, Дельвиг сказал четверостишие:

Увижу ль вас когда-нибудь,
С моею нежной половиной,
Увижу ль вас когда-нибудь,
О милый свадрик с плоховиной!

Позавтракав, мы поехали назад к Выборгу, но остановились, однако ж, чтобы еще в третий раз полюбоваться Иматрой. Солнце сияло прямо в лоно реки, водопад искрился золотом и огнем и был ослепителен: больно было смотреть. Прощай, Иматра, я, вероятно, уж больше тебя не увижу! Я прощаюсь с тобой навсегда, а когда мы были у берегов твоих, то каждый из нас давал себе и другим слово непременно опять когда-нибудь к тебе приехать!

Мы отправились обратно к линейке, а Глинка поехал с Сомовым в тележке. На одной станции, покуда перепрягали

лошадей, мы заметили, что Михаил Иванович с карандашом в руке и листком бумаги, стоя за полуразрушенным сараем, что-то пишет, а его возница перед ним поет какую-то заунывную песню. Передав бумаге, что ему нужно было, он подвел чухонца к нам и заставил его пропеть еще раз свою песню. Из этого мурлыканья чухонца Глинка выработал тот самый мотив, который так ласково и грустно звучит в арии Финна, в опере «Руслан и Людмила». Надобно было слышать потом, как Глинка играл этот мотив с вариациями и что он сделал из этих нескольких полудиких и меланхолических тонов! Когда Глинка однажды спел арию Финна в присутствии Сергея Львовича Пушкина, то старик при стихе:

По бороде моей седой
Слеза тяжелая скатилась, —

расплакался и бросился обнимать Глинку, и у всех присутствующих навернулись на глазах слезы... я не помню наслаждения выше того, какое испытала я в этот вечер!

Мы приехали в Выборг под вечер, но Дельвиг не дал нам перевести духа и потащил осматривать редкости Выборга и сад барона Николаи. Несмотря на всю усталость нашу, мы пошли туда пешком, в сопровождении дочери синьора Мотти, высокой черной итальянки, которая с охотою взялась нас туда проводить. Лишь только мы вступили в этот очаровательный сад, называемый, кажется, владельцем *mon-repos*[40], усталость была забыта, и восхищение сопровождало каждый наш шаг. Пройдя мимо разных хозяйственных построек, мы очутились перед обширным прекрасным лугом с изумрудною шелковою травою и за ним на высоком холме увидели прелестный замок, обогащенный затейливыми и вместе грациозными украшениями архитектурного искусства. Он нам казался дорогой изящной игрушкой — самой тонкой работы;

---

[40] «Мой отдых» (фр.).

на лугу разбросаны кусты с душистыми роскошными цветами; тут же на самой средине стоит одна, всего только одна береза; но какая?.. просто прелесть! большущая, развесистая, способная тенью своей защитить целое общество от палящего солнца; ветви с каждой стороны падали как-то ровно и, расширяясь книзу, придавали ей вид зеленеющей пирамиды; вокруг нее ни лавочек, ни скамеек, никаких украшений, никаких затей. Она, как великолепная красавица, отошла от роскошного замка, остановилась, глядит издали, чтобы вдоволь налюбоваться им и выказать на просторе и свою красоту. Позади замка раскидывается роща. При входе в нее, в тени группы разнообразных деревьев, над источником нас ожидала замечательной красоты мраморная наяда.

Проводница рассказывала нам, что вода источника славится целебною силою, вкусом и свежестью; действительно, я такой вкусной воды отроду не пивала. Она холодна, чиста, как горный хрусталь, и много имеет в себе живительного. У источника роскошный куст роз; далее, у подошвы горы, на которой построен замок, виднеется темная бесконечная аллея; ее образуют с одной стороны огромные нависшие над нею утесы, с другой — высокие деревья, которых вершины, склоняясь к оконечностям утесов, составляют темный зеленый свод.

Утесы эти, покрытые, по большей части, разноцветными мхами и ползучими растениями, совершенно дики и местами изрыты пещерами, внутри которых каменные плиты доставляют возможность отдохновения. Эта аллея — рай в жаркий день. В конце ее открывается море — море без конца. По кремнистому его берегу извивается тропинка, усыпанная песком. По этой тропинке есть несколько прелестных мест, в которых природа так изящно соединилась с искусством, что трудно оторваться от них. Одно осталось у меня в памяти: это грот, или просто пещера, приютившаяся под скалою на самом берегу моря. В расщелинах же скалы, среди мхов и диких камней, растут пышные розы. Много вкуса и любви к делу

было в человеке, умевшем так прекрасно украсить этот уголок, не изуродовав природы, как это часто делается. Он, так сказать, только приголубил, приласкал ее и тем помог ей выказать еще рельефнее все свои красоты.

Тут же в море, в двух шагах от берега, островок, среди которого надгробный памятник владельца. Туда нас не пустили. Должно быть, хорошо там отдыхать тому, кто жил здесь. На все наши восторги и возгласы синьора Мотти заметила, что здесь было бы еще лучше, еще веселее, если бы играла военная музыка. На возвратном пути из сада я едва уже тащилась, да и не мудрено: две версты туда и назад, а в саду, может быть, версты три выходила! Это хоть кому впору в жаркий день, а мне и подавно: я никогда ходить не умела. Все наши давно пришли и совсем уже смерклось, когда я со своей итальянкой добралась до гостиницы. Подходя к ней, я увидела в нижнем этаже за прилавком синьора Мотти, наливающего что-то пенящееся из бутылки; мне очень захотелось пить, и я спросила у синьоры, что это такое? «Это папенька пьет свадрик своего изделья», — сказала мне спутница. «Пожалуйста, попросите у него для меня». И синьор Мотти, исполняя мое желание, подал мне полный стакан пенящейся живительной влаги в окно. Признаюсь, я никогда ничего не пила с таким удовольствием и часто, вспоминая это питье, дивлюсь, как в Петербурге не вздумают его приготовлять: это было бы гораздо здоровее, приятнее и дешевле всякого пива. Мы переночевали еще раз в Выборге и возвратились в Петербург 1-го июля, в день рождения покойной государыни императрицы Александры Федоровны. Я помню это потому, что, усталые от всего испытанного, попеченные солнцем, запыленные, мы спешили домой освежиться и отдохнуть, но, вместо желанного покоя, попали в ряды тянувшихся на гулянье экипажей. Нас на Самсоньевском мосту поворотили назад и в запыленном, истерзанном виде заставили прокатиться по островам между блестящих городских колясок и карет и разряженных дам. При этом случае нас очень насмешил один полицейский

чиновник, которого мы просили, ради бога, пропустить нас. На все наши просьбы он отвечал только: «Так как, по-видимому, вы уже очень много проехали, то вам теперь уж немного осталось!» Нечего делать! Поехали далее скрепя сердце: за такие наслаждения, какие мы испытали в эту прогулку, можно было вытерпеть все безропотно.

По возвращении в Петербург Глинка посещал нас по-прежнему и познакомил нас с певцом Ивановым. Вскоре потом Глинка повез его в Италию, где Иванов приобрел европейскую известность. Бывая у Дельвига, Иванов певал его Соловья и своим мягким, симпатичным голосом придавал этому романсу ту прелесть и значение, которых жаждал поэт. В это предпоследнее, кажется, лето жизни Дельвига все приятное сгруппировалось вокруг него, чтобы усладить последние годы его земного существования. Все, что он любил, что тешило, счастливило его, как бы предчувствуя скорую с ним разлуку, стремилось к нему, и он, среди тишины семейной жизни, услажденный друзьями, поэзией и музыкой, мог назваться счастливейшим из смертных.

В это же время мечта его жизни осуществилась: у него родилась дочь. Приветствуя его с этою радостью, князь Вяземский сказал: «Поздравляю тебя с новою юною Идиллией и желаю ей в свое время сделаться древнею». К довершению всех этих задушевных наслаждений, на ту пору вблизи нашей дачи, на берегу Невы жил на своей даче Дмитрий Львович Нарышкин, и его знаменитая, известная всей Европе, роговая музыка была и для нас большим наслаждением. В праздничные дни она играла подле балкона, на котором сидел Дмитрий Львович, глядя на публику, гулявшую близ его дома по дорожкам между цветов. По будням же она разъезжала тихо в большой лодке по Неве и своими чарующими звуками, далеко разносившимися по реке, доставляла удовольствие тысячам людей. Беднейший из любителей музыки мог ежедневно слышать бесплатно восхитительный концерт. Так настоящий аристократ, русский бария, умел пользоваться

своим богатством и делиться с другими изящными своими наслаждениями. Я имела привычку отдыхать после обеда и всегда пробуждалась под звуки этой дивной музыки.

Я сказала уже, что Михаил Иванович Глинка был такого милого, любезного характера, что, узнавши его коротко, не хотелось с ним расставаться, и мы пользовались всяким случаем, чтобы чаще его видеть.

Однажды он рассказывал нам, что у него прекрасная квартира, кажется, в Измайловском полку, и презанимательный сад с беседками, киосками, надписями и сюрпризами. Мы устроили так, что он пригласил весь наш кружок к себе на чай. Когда мы приехали к нему, он тотчас повел нас в сад и там угощал фруктами, чаем и своей музыкой. Много мы шутили и долго смеялись над одною из надписей на беседке его садика: «Не пошто далече и здесь хорошо». В конце этого счастливого лета мы еще сделали поездку в обществе Глинки в Ораниенбаум. Там жила в то лето нам всем близкая по сердцу, дорогая наша О. С. Павлищева, она была больна и лечилась морским воздухом и купаньями. Мы тоже там выкупались в море все, кроме Глинки и барона Дельвига. Первый начинал уже чувствовать разные припадки, которые заставляли его уезжать по зимам в Италию. Ради правды нельзя не признаться, что вообще жизнь Глинки была далеко не безукоризненна. Как природа страстная, он не умел себя обуздывать, и сам губил свое здоровье, воображая, что летние путешествия могут поправить зло и вред зимних пирушек; он всегда жаловался, охал, но между тем всегда был первый готов покутить в разгульной беседе. В нашем кружке этого быть не могло, и потому я его всегда видела с лучшей его стороны, любила его поэтическую натуру, не доискиваясь до его слабостей и недостатков. Богатые дарования этого маленького человека (Глинка был гораздо меньше обыкновенного среднего роста мужчины) чрезвычайно были привлекательны, и самый его ум и приятный характер внушали и дружбу, и симпатию.

Барон Дельвиг тоже купаться в море не решился вследствие мнительности; он тогда все кушал какие-то пилюли отвратительного запаха и беспрестанно лечился от воображаемых болезней у разных эмпириков. Это-то, я думаю, и расстроило его здоровье и крепкую организацию и отняло у нее силы бороться с настоящею болезнью, когда она приключилась! Глинка, предполагая ехать в Италию, начал учиться итальянскому языку; так случилось, что и на нас с баронессою Дельвиг напала охота заняться тоже итальянским языком, и тут-то резко обозначился контраст между способностями обыкновенными и способностями высокого таланта, каков был Глинка. Пока мы в два месяца, занимаясь ежедневно у Лангера, товарища Дельвига и Пушкина по Лицею, едва выучились читать и говорить несколько слов, Михаил Иванович уже говорил бегло, быстро, с удивительно милым итальянским произношением, без иностранного акцента. Хотя способность к языкам и составляет принадлежность русских, хотя и говорит где-то Eugène Sue: «Elle parlait français, comme une russe!»[41] — но все-таки быстрота, с какою Михаил Иванович усвоил знание итальянского языка, изумила нас. Он впоследствии владел хорошо и испанским языком.

Вскоре после этого Глинка уехал за границу, и когда возвратился, чтобы переменить паспорт, намереваясь остаться в России только на сутки, то встретился с хорошенькой девушкой Ивановой. Он был, как все поэты, мягкосердечен, впечатлителен, а потому с одного взгляда влюбился в нее и, недолго думая, вместо того чтобы переменить паспорт и ехать за границу, женился. После этого я долго его не видала; он получил место при императорской капелле и стал реже являться среди старых друзей.

Потом я встретила его глубоко разочарованным, скорбевшим оттого, что близкие его сердцу не поняли этого

[41] Эжен Сю: «Она говорила по-французски как русская!» (фр.).

сердца, созданного, как он уверял, для любви. Но понял ли он и сам ту женщину, от которой ожидал любви и счастья?..

Мне всегда казалось, что истинная любовь должна быть не только прозорлива, но и ясновидяща, иначе она не истинна; а потому я думаю, что Глинка сам себя обманывал и называл любовью чувство, которое в нем было только увлечением красотою этой женщины. Но как бы то ни было, Глинка был несчастлив. Семейная жизнь скоро ему надоела; грустнее прежнего он искал отрады в музыке и дивных ее вдохновениях. Тяжелая пора страданий сменилась порою любви к одной близкой мне особе, и Глинка снова ожил. Он бывал у меня опять почти каждый день; поставил у меня фортепиано и тут же сочинил музыку на 12 романсов Кукольника, своего приятеля. Когда он, бывало, пел эти романсы, то брал так сильно за душу, что делал с нами, что хотел; мы и плакали, и смеялись по воле его. У него был очень небольшой голос, но он умел ему придавать чрезвычайную выразительность и сопровождал таким аккомпанементом, что мы его заслушивались. В его романсах слышалось и близкое искусное подражание звукам природы, и говор нежной страсти, и меланхолия, и грусть, и милое, неуловимое, необъяснимое, но понятное сердцу. Более других остались в моей памяти: «Ходит ветер у ворот...» и «Пароход» с его чудно подражательным аккомпанементом; потом что-то вроде баркаролы, наконец, и колыбельная песнь:

Уснули ль голубые
Сегодня, как вчера?

Эту последнюю певала и я, укачивая маленького сына, который сквозь сон за мною повторял: уснули габые...

Моя маленькая квартира была в нижнем этаже на Петербургской стороне, в Дворянской улице. Часто народ собирался кучкой у окна, заслышавши Глинку. Однажды он передразнивал разбитую шарманку, наигрывавшую у моего окна, с такою точностью и комизмом, что мы помирали со смеху.

Бедный шарманщик пришел сначала в изумление, что у нас в комнате повторяются фальшивые звуки его шарманки со всеми дребезжащими ее нотками, а потом вошел в неописанный восторг и долго не мог надивиться искусству Глинки; а он, мой голубчик, увлекшись веселостью своих звуков, начал играть на темы шарманки вариации и ими восхитил не только нас, своих почитателей, но и толпу, стоявшую у окна, которая по окончании вариаций разразилась самым восторженным рукоплесканием. Он часто играл нам свою «*Камаринскую*», но когда хотел меня разутешить, то пел песнь Финна, на известный нам мотив, усвоенный им во время поездки на Иматру. За такие любезности я угощала его пирогами и ватрушками, которые он очень любил. Завидя перед обедом одно из таких кушаньев, он поворачивал свои стул несколько раз кругом, складывал руки на груди и отвешивал по глубокому поклону столу, ватрушкам и мне. Он говорил, что только у добрых женщин бывают вкусные пироги. Не знаю, насколько это справедливо, замечаю только, что это было его мнение; любимый же его напиток было легкое красное вино, а десерт — султанские финики. Чай он пил всегда с лимоном. Если все это являлось у нас для него, он был совершенно счастлив, играл, пел, шутил остроумно и безвредно для кого бы то ни было. Лучше и мягче характера я не встречала. Мне кажется, что так легко было бы сделать его счастливым. Он имел детские капризы, изнеженность слабой болезненной женщины; не любил хлопотать о мелочах житейских — и хотя был расчетлив, но никогда не брал медных денег в руки и оставлял такую сдачу купцу. Иногда лень и слабость до того одолевали его, что, как рассказывали мне люди, ему близкие, он не мог пошевелиться и просил, например, кого-нибудь из присутствующих, чтобы поправили полу его халата, если она была раскрыта. Изнеженность доходила у него до того, что когда поехал он со мной и моим семейством в Малороссию, то, извиняясь слабостью нервов,

не позволявшею ему ехать спиною к лошадям, он допустил, несмотря на самую утонченную свою вежливость, сидеть ехавшую со мною девицу на переднем месте кареты, а сам занял в ней первое. На станциях я расплачивалась за лошадей, заказывала обед или завтрак и прочее, а он, выйдя из кареты, тотчас садился в угол станционного дивана и ни во что не вмешивался. Во время же переезда от станции до станции разговаривал, пел из задуманной уже оперы «Руслан и Людмила» и особенно восхищал нас мотивом, который так ласково звучит в арии:

О Людмила,
Рок сулил нам счастье,
Сердце верит...
и проч., проч.

Ах, какая чудная музыка! Какая душа в этой музыке, какое гармоническое соединение чувства с умом и какое тонкое понимание народного колорита... Грустно мне было и больно, когда я, долго мечтавшая о счастье увидеть «Руслана и Людмилу» на театре и считавшая это почти невозможным по отдаленности жительства моего от Петербурга, наконец, увидела эту оперу в 1858 году!

Возможно ли любимое дитя гениального человека так исказить постановкой и то, над чем с такою любовью трудился гений — представить русской публике в жалком, во всех отношениях, виде? Я плакала от грустного воспоминания при знакомых, дорогих сердцу мотивах и разрывалась от досады за все остальное.

В артистическом мире все должно гармонировать, все должно быть отчетливо и достойно целого. Не говоря об исполнении самой музыки, что это были за декорации? *Большая голова* великана так близко поставлена к авансцене, что все чудесное и фантастическое, присвоенное ей поэтом, поневоле переходит в пошлый фарс; а поле, усеянное костями, разве

похоже на то, о котором мечтал Пушкин?.. Наконец, сражение на воздухе Карла с Русланом разве не смешная штука? Неужели нельзя было придать этому всему той волшебной неясности и неопределенности, каких требует смысл поэмы и условие вкуса? Несмотря на разнохарактерность мотивов этой оперы, совершенно согласных с национальностью и особенностями действующих лиц, она мало действует на публику; я предполагаю, что причина тому именно неудачная обстановка.

Чтобы насладиться этой музыкою, надобно сидеть в театре, зажмуря глаза; я так делала и была минутами счастлива. Неужели у нас не найдется даже после смерти Глинки живая душа, которая бы взялась сделать то, что он желал? А он так страстно любил это последнее свое дитя! В этой опере он выражал свою последнюю любовь, это была мелодия лебединой песни и гармоническое сказание о чувствах души, которая изливалась в музыке, хотя и не всем доступной, но полной поэзии.

Приехавши из Малороссии в 1855 году, я тотчас осведомилась о Глинке, и когда мне сказали, что здоровье его сильно расстроено, я не решилась просить его к себе, а послала сына узнать, когда он может меня принять.
Обласкав сына, которого видел в колыбели и сам учил петь *кукуреку*, играя с ним на ковре, он усердно звал меня к себе. Когда я вошла, он меня принял с признательностью и тем чувством дружества, которым запечатлелось первое наше знакомство, не изменяясь никогда в своем свойстве. В большой комнате, в которой мы уселись, посредине стоял раскрытый рояль, заваленный беспорядочно нотами, а подле ломберный стол, тоже с нотами, и я радовалась, что любимым занятием Глинки по-прежнему была музыка. При этом свидании он не говорил о невозвратных прошлых мечтах и предположениях, которые так весело улыбались ему при отъезде моем в Малороссию. Вообще он избегал говорить о себе и склонял разговор к моему тогдашнему незавидному

положению, расспрашивал о моих делах с живым участием и только мельком касался своих обстоятельств и намерений. Когда я ему сказала, что предполагаю приняться за переводы, чтобы облегчить мужу бремя забот о средствах существования, то он усердно предложил свои услуги и при этом употребил такие выражения: «Le jour où je pourrai faire quelque chose pour vous sera un bien beau jour jour pour moi»[42].

При этом он мне сообщил, что занимается духовною музыкой, сыграл, кстати, херувимскую песнь и даже пропел кое-что, вспоминая былые времена.

Несмотря на опасение слишком сильно его растревожить, я не выдержала и попросила (как будто чувствовала, что его больше не увижу), чтоб он пропел романс Пушкина «Я помню чудное мгновенье...», он это исполнил с удовольствием и привел меня в восторг! В конце беседы он говорил, что сочинил какую-то музыку, от которой ждет себе много хорошего, и если ее примут так, как он желает, то останется в России, съездив только на время на воды, чтобы укрепить свое здоровье для дальнейшей работы; если же нет, то уедет навсегда. «Вреден север для него», — подумала я и рассталась с поэтом в грустном раздумье.

При расставании он обещал посвятить мне целый вечер и просил прийти к нему с близкими моими, когда он уведомит, что в состоянии принять. Я не собралась больше к Глинке, т. е. он не собрался меня пригласить, как мы условились, а через два года, и именно 3 февраля (в день именин моих), его не стало! Его отпевали в той же самой церкви, в которой отпевали Пушкина, и я на одном и том же месте плакала и молилась за упокой обоих! День был ясный, солнечный, светлые лучи его падали прямо из алтаря на гроб Глинки, как бы желая взглянуть в последний раз на бренные останки нашего незабвенного композитора.

---

[42] «День, когда я смогу для вас что-нибудь сделать, будет прекрасным для меня» (фр.).

Дельвиг и Пушкин

Письмо Павлу Васильевичу Анненкову
при посылке воспоминаний о Глинке

Вы не можете себе представить, как барон Дельвиг был любезен и приятен, особенно в семейном кружке, где я имела счастье его часто видеть. Вспоминая анекдот о Пушкине, где Александр Сергеевич сказал Прасковье Александровне Осиповой в ответ на критику элегии: «Ах, тетушка! Ах, Анна Львовна: «J'.espère qu'il est blen permis à moi et au baron Delvig de ne pas toujours avoir de l'esprit»[43], не могу не сравнить их мысленно и, припоминая теперь склад ума барона Дельвига, я нахожу, что Пушкин был не совсем прав; нахожу, что он был так опрометчив и самонадеян, что, несмотря на всю его гениальность — всем светом признанную и неоспоримую, — он, точно, не всегда был благоразумен, а иногда даже неумен. В таком же смысле, как и Фигаро восклицает: «Ah! qu'ils sont bêtes les gens d'esprit!»[44]. Дельвиг же, могу утвердительно сказать, был всегда умен! И как он был любезен! Я не встречала человека любезнее и приятнее его. Он так мило шутил, так остроумно, сохраняя серьезную физиономию, смешил, что нельзя не признать в нем истинный великобританский юмор. Гостеприимный, великодушный, деликатный, изысканный, он умел счастливить всех его окружающих. Хотя Дельвиг не был гениальным поэтом, но название поэтического существа вполне может соответствовать ему, как благороднейшему из людей. Его поэзия, его песни — мелодия поэтической души.

Помните романс его:

---

[43] Я думаю, мне и барону Дельвигу вполне позволительно не всегда быть умными (фр.).

[44] «Ах, как они глупы, эти умные люди!» (фр.).

Прекрасный день, счастливый день!
И солнце, и любовь!

Пушкин говорил, что он этот романс прочел и прочувствовал вполне в Одессе, куда ему его прислали. Он им восхищался с любовью, которую питал к другу-поэту. Он всегда с нежностью говорил о произведениях Дельвига и Баратынского. Дельвиг тоже нежно любил и Баратынского, и его произведения. Тут кстати заметить, что Баратынский не ставил никаких знаков препинания, кроме запятых, в своих произведениях и до того был недалек в грамматике, что однажды спросил у Дельвига в серьезном разговоре: «Что ты называешь родительным падежом?» Баратынский присылал Дельвигу свои стихи для напечатания, а тот всегда поручал жене своей их переписывать; а когда она спрашивала, много ли ей писать, то он говорил: «Пиши только до точки». А точки нигде не было, и даже в конце пьесы стояла запятая!

Мне кажется, Дельвиг был одним из лучших, примечательнейших людей своего времени, и если имел недостатки, то они были недостатками эпохи и общества, в котором он жил. Лучший из друзей, уж конечно, он был и лучшим из мужей. Я никогда его не видала скучным или неприятным, слабым или неровным. Один упрек только сознательно ему можно сделать, это за лень, которая ему мешала работать на пользу людей. Эта же лень делала его удивительно снисходительным к слугам своим, которые могли быть все, что им было угодно: и грубыми, и пренебрежительными; он на них рукой махнул, и если б они вздумали на головах ходить, я думаю, он бы улыбнулся и сказал бы свое обычное: «Забавно!» Он так мило, так оригинально произносил это «забавно!», что весело вспомнить. И замечательно, что иногда он это произносил, когда вовсе не было *забавно*. Я с ним и его женою познакомилась у Пушкиных, и мы одно время жили в одном доме, и это нас так сблизило, что Дельвиг дал мне раз

(от лености произносить вполне мое имя и фамилию) название 2-ой жены, которое за мной и осталось. Вот как это случилось: мы ездили вместе смотреть какого-то фокусника. Входя к нему, он, указывая на свою жену, сказал: «Это жена моя»; потом, рекомендуя в шутку меня и сестру мою, проговорил: «Это вторая, а это третья». У меня была книга (затеряна теперь), кажется, «Стихотворения Баратынского», которые он издавал; он мне ее прислал с надписью: «Жене № 2-й от мужа безномерного б. Дельвига». Он очень радушно встречал обычных своих посетителей, и всем было хорошо близ него! On était si à son aise près de lui! on se santait si protégé![45]

У меня были «Северные цветы» за все почти годы с подписью бароновой руки.

В альбоме моем (сделанном для портрета Веневитинова и подаренном мне его приятелем Хомяковым после его смерти) Дельвиг написал мне свои стихи к Веневитинову: «Дева и Роза». Я уже говорила вам, что в это время занимала маленькую квартиру во дворе (в доме бывшем Кувшинникова, тогда уже и теперь еще Олферовского). В этом доме, в квартире Дельвига, мы вместе с Александром Сергеевичем имели поручение от его матери Надежды Осиповны принять и благословить образом и хлебом новобрачных Павлищева и сестру Пушкина Ольгу. Надежда Осиповна мне сказала, отпуская меня туда в своей карете: «Remplacez-moi, chère amie, ici je vous confie cette image pour bénir ma fille en mon nom»[46]. Я с гордостью приняла это поручение и с умилением его исполнила. Дорогой Александр Сергеевич, грустный, как всегда бывают люди в важных случаях жизни, сказал мне шутя: Voilà pourtant la première fois que nous sommes seuls. Vous et moi». — «Et nous avons bien froid n'est ce pas?» — «Oui. Vous

---

[45] Подле него вы чувствовали себя столь непринужденно, столь надежно! (фр.).

[46] «Замените меня, мой друг; вручаю этот образ — благословите им мою дочь от моего имени» (фр.).

avez raison, il faut bier froid — 27 degrés»[47], а сказав это, закутался в свой плащ, прижался в угол кареты, и ни слова больше мы не сказали до самой временной квартиры новобрачных. Там мы долго прождали молодых, молча прогуливаясь по освещенным комнатам, тоже весьма холодным, отчего я, несмотря на важность лица, мною представляемого (посаженой матери), оставалась, как ехала, в кацавейке; и это подало повод Пушкину сказать, что я похожа на царицу Ольгу. Несмотря на озабоченность, Пушкин и в этот раз был очень нежен, ласков со мною... Я заметила в этом и еще нескольких других случаях, что в нем было до чрезвычайности развито чувство *благодарности*: самая малейшая услуга ему или кому-нибудь из его близких трогала его несказанно. Так, я помню, однажды потом батюшка мой, разговаривая с ним на этой же квартире Дельвига, коснулся этого события, т. е. свадьбы его сестры, мною нежно любимой, и сказал ему, указывая на меня: «А эта дура в одной рубашке побежала туда через форточку». В это время Пушкин сидел рядом с отцом моим на диване против меня, поджавши, по своему обыкновению, ноги, и, ничего не отвечая, быстро схватил мою руку и крепко поцеловал. Красноречивый протест против шуточного обвинения сердечного порыва! Помню еще одну особенность в его характере, которая, думаю, была вредна ему: думаю, что он был более способен увлечься блеском, заняться кокетливым старанием ему нравиться, чем истинным глубоким чувством любви. Это была в нем дань веку, если не ошибаюсь; иначе истолковать себе не умею! Un bon mot, la repartin vive[48] всегда ему нравились. Он мне однажды сказал, да тогда именно, когда я ему сказала, что нехорошо меня обижать — moi qui suis si inoffensive[49]. Выражение ему понравилось, и он простил мне выговор, повторяя: «C'est réellement cela. Vous êtes si

---

[47] «А ведь мы в первый раз одни — вы и я». — «И нам очень холодно, не правда ли?» — «Да, вы правы, очень холодно — 27 градусов» (фр.).

[48] Острота, быстрый и находчивый ответ (фр.).

[49] меня, такую безобидную (фр.).

inoffensive»[50], — и потом сказал, — да с вами и не весело ссориться. Voilà Votre cousine, c'est toute autre chose: et cela fait plaisir, on trouve à qui parler»[51]. Причина такого направления — слишком невысокое понятие о женщине — опять-таки, несмотря на всю гениальность, *печать века*. Сестра моя сказала ему однажды: «Здравствуй, Бес!» Он ее за то назвал божеством в очень милой записке. Любезность, остроумное замечание женщины всегда способны были его развеселить. Однажды он пришел к нам и сидел у одного окна с книгой, я у другого; он подсел ко мне и начал говорить мне нежности à propos de bottes[52] и просить ручку, говоря: «C'est si satin». Я ему отвечала: «Satan»[53]; а сестра сказала, шутя: «Не понимаю, как вы можете ему в чем-нибудь отказать!» Он от этой фразы в восторг пришел и бросился перед нею на колени в знак благодарности. Вошедший в эту патетическую минуту брат Алексей Николаевич Вульф аплодировал ему от всего сердца. И, однако ж, он однажды мне говорил, кстати, о женщине, которая его обожала и терпеливо переносила его равнодушие: «Rien de plus insipide que la patience et la résignation»[54].

Приятно жилось в это время. Баронесса приходила ко мне по утрам: она держала корректуру «Северных цветов». Мы иногда вместе подшучивали над бедным Сомовым, переменяя заглавия у стихов Пушкина, напр.: «Кобылица молодая...» мы поставили «Мадригал такой-то...». Никто не сердился, а всем было весело. Потом мы занимались итальянским языком, а к обеду являлись к мужу. Дельвиг занимался в маленьком полусветлом кабинете, где и случилось несчастие с песнями Беранже, внушившее эти стихи:

---

[50] «Это в самом деле верно, вы такая безобидная (фр.).

[51] Вот ваша кузина — совсем другое дело, и это приятно: есть с кем поговорить» (фр.).

[52] под пустым предлогом (фр.).

[53] «Настоящий атлас» — «Сатана». (Игра слов: satin — атлас, Satan — сатана) (фр.).

[54] «Ничего нет безвкуснее долготерпения и самоотверженности» (фр.).

Хвостова кипа тут лежала,
А Беранже не уцелел,
За то его собака съела,
Что в песнях он собаку съел (bis).

Эти стихи, в числе прочих, пелись хором по вечерам. Пока барон был в Харькове, мы переписывались с его женою, и она мне прислала из Курска экспромт барона:

Я в Курске, милые друзья,
И в Полторацкого таверне
Живее вспоминаю я
О деве Лизе, даме Керне!

Я вспомнила еще стихи, сообщенные мне женою барона Дельвига, сложенные когда-то вместе с Баратынским:

Там, где Семеновский полк,
В пятой роте, в домике низком
Жил поэт Баратынский
С Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они.
За квартиру платили немного,
В лавочку были должны,
Дома обедали редко.
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком
В панталонах триковых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели),
Шли и твердили шутя:
Какое в Россиянах чувство!

А вот еще стихи барона: пародия на «Смальгольмского барона», переведенного Жуковским:

До рассвета поднявшись, извозчика взял
Александр Ефимыч с Песков.
И без отдыха гнал от Песков чрез канал

В желтый дом, где живет Бирюков.
Не с Цертелевым он совокупно спешил
На журнальную битву вдвоем;
Не с романтиками переведаться мнил
За баллады, сонеты путем,
Но во фраке был он, был тот фрак заношен,
Какой цветом, нельзя распознать,
Оттопырен карман, в нем торчит, как чурбан,
Двадцатифунтовая тетрадь.
………………………………………..
………………………………………..
Его конь опенен, его Ванька хмелен,
И согласно хмелен с седоком.
Бирюкова он дома в тот день не застал:
Он с Красовским в цензуре сидел,
Где на Олина грозно Фон Поль напирал,
Где ……….. улыбаясь глядел.
Но изорван был фрак, на манишке табак,
Ерофеичем весь он облит;
Не в журнальном бою, но в питейном дому
Был квартальными больно побит.
Соскочивши на Конной с саней у столба,
Притаяся у будки, он стал,
И три раза он крикнул Бориса-раба,
Из харчевни Борис прибежал.
«Подойди-ка, мой Борька, мой трагик смешной,
И присядь ты на брюхо мое;
Ты скотина, но право, скотина лихой.
И скотство по нутру мне твое».

Вскоре после того, как мы читали эту прекрасную пародию, барон Дельвиг ехал куда-то с женой в санках через Конную площадь; подъезжая к будке, он сказал ей очень серьезно: «Вот, *на самом этом месте* соскочил с саней Александр Ефимович с Песков, и у этой самой будки он крикнул Бориса Федорова». Мы очень смеялись этому точному указанию исторической местности. Он всегда шутил очень серьезно, а ко-

гда повторял любимое свое словно «*забавно*», это значило, что речь идет о чем-нибудь совсем не забавном, а или грустном, или же досадном для него!.. Мне очень памятна его манера серьезно шутить, между прочим, по следующему случаю: один молодой человек преследовал нас с Софьей Михайловной насмешками за то, что мы смеемся, повторяя часто фразу из романа Поль де Кока, которая ему вовсе не казалась так смешною. Нам стоило только повторить эту фразу, чтобы неудержимо долго хохотать. Эта фраза была одного бедного молодого человека (разбогатевшего потом) взята из романа «La maison Blanche». Молодой человек в затруднении перед балом, куда приглашен школьным товарищем, знатным молодым человеком; весь его туалет собран в полном комплекте, недостает только шелковых чулков, без которых невозможно обойтись; у него были одни, почти новые, да он ими ссудил свою возлюбленную гризетку, швею в модном магазине. Она пришла на помощь, чтоб завить волосы своему приятелю, но увы, относительно чулков объявила, что чулки эти даны ею взаймы г-же..., она тоже дала взаймы своей подруге, которая, в свою очередь, ссудила ими своего друга, а друг этот награжден от природы огромнейшими mollets[55] и потому, надев их раз, так изувечил, что они больше никому не могут годиться. (Она) кончила свою (речь) философическим замечанием своему Robineau: «Est-ce qu'on a jamais eu un amant qui vous redemande ce qu'il vous a prêté»[56]. На это г-н Робино возразил комическим тоном, чуть не плача: «Quand on n'a que quinze cent livres de rente, on ne nage pas dans les bas de soie!»[57]

Не мы одни с баронессою находили юмор в этой *жалостливой фразе*, из наших знакомых один только помянутый выше

---

[55] Икрами (фр.).

[56] «Виданное ли дело, чтобы любовник потребовал обратно то, что дал вам в долг?» (фр.).

[57] «Когда имеют всего полторы тысячи ливров дохода, не щеголяют в шелковых чулках!» (фр.).

молодой человек не видел в ней смешного. Раз он резко выразил свое удивление, что мы так долго смеемся совсем не смешному. Мы сидели в это время за обедом, и барон Дельвиг, стоя за столом в своем малиновом шелковом шлафроке и разливая, по обыкновению, суп, сказал: «Я с тобой согласен, мой милый, je ne nage pas dans les bas de soie[58]: совсем *не смешно, а жалко*!»

Никогда не забуду его саркастической улыбки и забавной интонации голоса при слове «*жалко*!».

Разбирая свои старые бумаги и письма, я нашла очень интересные записки. Одну собственноручную барона Дельвига, о деле касательно моих интересов, которая начинается так: «Милая жена, очень трудно давать советы; спекуляция Петра Марковича может удастся или же нет; и в том и в другом случае будете раскаиваться (если отдадите имение). Повинуйтесь сердцу — это лучший совет мой...» Записка его жены, в год женитьбы Александра Сергеевича, именно в тот год, когда мы ездили на Иматру, и я с ними провела лето в Колтовской, у Крестовского перевоза. Я уехала в город прежде их, когда мне представился случай достать выгодную квартиру; вскоре, кажется в конце августа, она мне писала: «Léon est parti hier, Александр Сергеевич est arrivé avant hier. Il est, dit on, plus amoureux que jamais. Cependant il ne parle presque pas d'elle. Il a cité hier une phrase (de m-me Willois, je crois) qui disait à son fils: «Ne parlez de Vous qu'au roi et de votre femme à personne, car on risque toujours d'en parler à quelqu'un qui la sonnait mieux que vous». La noce se fera au Septembre»[59].

---

[58] я не щеголяю в шелковых чулках (фр.).

[59] «Лев уехал вчера, Александр Сергеевич возвратился третьего дня. Он, говорят, влюблен больше, чем когда-либо. Однако он почти не говорит о ней. Вчера он привел фразу — кажется, г-жи Виллуа, которая говорила сыну: «Говорите о себе с одним только королем, а о своей жене — ни с кем, иначе вы всегда рискуете говорить о ней с кем-то, кто знает ее лучше вас». Свадьба будет в сентябре (фр.).

Действительно, в этот приезд Пушкин казался совершенно другим человеком: он был серьезен, важен, как следовало человеку с душою, принимавшему на себя обязанность счастливить другое существо...

Таким точно я его видела потом в <другие> разы, что мне случалось его встретить с женою или без жены. С нею я его видела два раза. В первый это было в другой год, кажется, после женитьбы. Прасковья Александровна была в Петербурге и у меня остановилась; они вместе приезжали к ней с визитом в открытой колясочке, без человека. Пушкин казался очень весел, вошел быстро и подвел жену ко мне прежде (Прасковья Александровна была уже с нею знакома, я же ее видела только раз у Ольги одну). Уходя, он побежал вперед и сел прежде ее в экипаж; она заметила, шутя, что это он сделал оттого, что он муж. Потом я его встретила с женою у матери, которая начинала хворать. Наталия Николаевна сидела в креслах у постели больной и рассказывала о светских удовольствиях, а Пушкин, стоя за ее креслом, разводя руками, сказал шутя: «Это последние штуки Натальи Николаевны: посылаю ее в деревню». Она, однако, не поехала, кажется, потому, что в ту же зиму Надежде Осиповне сделалось хуже, и я его раз встретила у родителей одного. Это было раз во время обеда, в четыре часа. Старики потчевали его то тем, то другим из кушаньев, но он от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему и мне, предлагая гуся с кислою капустою: «C'est un plat écossais»[60], заметив при этом, что он никогда ничего (не ест до обеда, а обедает в 6 часов. Потом я его еще раз встретила с женою у родителей, незадолго до смерти матери и когда она уже не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам; они сидели рядом на маленьком диване

[60] «Это шотландское блюдо» (фр.).

у стены, и Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовью, а Александр Сергеевич держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как будто тем выражал ласку к жене и ласку к матери. Он при этом ничего не говорил... Наталья Николаевна, была в папильотках: это было перед балом... Я уверена, что он был добрым мужем, хотя и говорил однажды, шутя, Анне Николаевне, которая его поздравляла с неожиданною в нем способностью себя вести, как прилично любящему мужу: «Ce n'est que de l'hypocrisie»[61].

Вот еще выражение века: непременно, во что бы то ни стало, казаться хуже, чем он был... В этом по пятам за ним следовал и Лев Сергеевич.

Я теперь опять обращусь к Дельвигу. Припоминаю все это время, и как он был добр ко всем и ласков к родным, друзьям и даже только знакомым. Вскоре после возвращения из Харькова он или выписал к себе, или сам привез, не помню, двух своих маленьких братьев, 7 и 8 лет. Старшего, Александра, он называл классиком, меньшего, Ивана, — романтиком и таким образом представил их однажды вечером Пушкину. Александр Сергеевич нежно, внимательно их рассматривал и ласкал, причем барон объявил, ему, что меньшой уже сочинил стихи. Александр Сергеевич пожелал их услышать, и маленький Дельвиг, не конфузясь нимало и не гордясь своей ролью, медленно и внятно произнес, положив свои ручонки в обе руки Александра Сергеевича:

Индиянди, Индиянди, Индия!
Индиянди, Индиянди, Индия!

Александр Сергеевич погладил его по голове, поцеловал и сказал, что он точно романтик. Где-то он теперь? Как бы мне хотелось на них взглянуть! Вспоминая о Дельвиге, я невольно

[61] «Это только хитрость» (фр.).

припоминаю еще многое о Пушкине и, разбирая записки Дельвига, сохранившиеся у меня, нашла еще несколько записок Пушкина. Это относится к тому времени, когда он узнал о смерти моей матери и о тесных обстоятельствах, вследствие которых одна дама, принимавшая во мне большое участие (а именно Елизавета Михайловна Хитрово), переписывалась со мною, хлопотала о том, чтобы мне возвратилось имение, проданное моим отцом гр. Шереметеву. Я интересовалась этим имением по воспоминаниям моего счастливого детства, хотя и в финансовом отношении оно не могло быть не *интересно*, потому что иметь что-нибудь или не иметь *ничего* все-таки составляет громадную разницу.

Не воздержусь умолчать об одном обстоятельстве, которое навело меня на эту мысль *выкупить* без денег свое проданное имение! Однажды утром ко мне явился гвардейский солдат. «Не узнаете меня, ваше превосходительство?» — сказал он, поклонившись в пояс. «Извини, голубчик, не узнаю тебя, припомни мне, где я тебя видела». — «А я из вашей вотчины, ваше превосходительство. Я помню вас, как вы изволили из ваших ручек потчевать водкой отца моего, и жили тогда в нашей чистой избе, а в другой, чистой же, ваш батюшка и матушка». — «Помню, помню, мой милый, — сказала я (хотя вовсе его-то самого не помнила). — Так ты пришел со мной повидаться, это очень приятно». — «Да кроме того, — сказал он, — я пришел просить вас, нельзя ли вам, матушка, откупить нас опять к себе; мне пишут мои старики, сходил бы ты к нашей прежней госпоже, к генеральше такой-то, да сказал бы ей, что вот, дескать, мы бы рады-радешеньки ей опять принадлежать, что при ревизии теперь в двух селениях прибавилось много против прежнего, что мы и теперь помним, как благоденствовали у дедушки их, у матушки и у них самих потом; скажи ей, что мы даже согласны графу Шереметеву внести половинную цену за имение и сами на свой счет выстроим ей домик, коли вы согласны нас у него откупить опять».

Это предложение было так трогательно и вместе так соблазнительно, что я решилась его сообщить Елизавете Михайловне Хитровой вскоре после кончины матери моей, и она по доброте своей взялась хлопотать.

Вот 1-я записка ее:

«J'ai reçu hier matin votre bonne lettre, Madame, j'aurais été Vous voir sans une grave indisposition de ma fille. Si Vous êtes libre de venir demain à midi, je Vous recevrai avec bien de la joie.

El. Hitroff».

Вследствие этой-то записки Александр Сергеевич приехал ко мне в своей карете, в ней меня отправил к Хитровой.

2-я записка Хитровой написана рукою Александра Сергеевича. Вот она:

«Chère Madame Kern, notre jeune a la rougeole et il n'y a pas moyen de lui parler; dès que ma fille sera mieux j'irai Vous embrasser», — а ее рукой —

El. Hitroff».

Опять рукою Александра Сергеевича:

«Ma plume est si mauvaise que Madame Hitroff... s'en servir et que c'est moi qui ai l'avantage d'être son secrètaire.

A.».

Следует еще одна записочка от Елизаветы Михайловны Хитровой (ее рукой):

«Voici, ma très chère, une lettre de Che<remete>ff — dites moi ce qu'elle contient. J'allais Vous la porter moi-même, mais j'ai un vrai malheur, car voilà qu'il pleut.

E. Hitroff».

Потом за нее еще рукою Александра Сергеевича, предпоследняя об этом неудавшемся деле:

«Voici la réponse de Ch<eremite>ff. Je désire, qu'elle soit agréable. Madame Hitroff a fait ce qu'elle a pu. Adieu, belle dame, soyez tranquille et contente et croyez à mon dévouement».

Самая последняя была уже в слишком шуточном роде, — я на нее подосадовала и тогда же уничтожила. — Когда оказалось, что ничего не могло втолковать доброго господина, от которого зависело дело, он писал мне (между прочим):

«Quand Vous n'avez rien pu obtenir, Vous, qui êtes une jolie femme, qu'y pourrai-je faire, moi, qui ne suis pas même joli garçon... Tout ce que je puis conseiller, — c'est de revenir à la charge etc., etc., — et puis jouant sur le dernier mot...»

Меня это огорчило, и я разорвала эту записку. Больше мы не переписывались и виделись уже очень редко — кроме визита единственного им с женою Прасковье Александровне. Этой последней вздумалось состроить partie fine[62], и мы обедали все вместе у Дюме, а угощал нас Александр Сергеевич и ее сын Алексей Николаевич Вульф. Пушкин был любезен за этим обедом, острил довольно зло, и я не помню ничего особенно замечательного в его разговоре. Осталось только в памяти одно его интересное суждение. Тогда только что вышли повести Павлова, я их прочла с большим удовольствием, особенно «Ятаган». Брат Алексей Николаевич сказал, что он в них не находит ровно никакого интересного достоинства. Пушкин сказал: «Entendons nous[63]. Я начал их читать и до тех пор не оставил, пока не кончил. Они читаются с большим удовольствием». Теперь я себе припомнила несколько его суждений о романах: он очень любил Бульвера, «цитировал некоторые фразы из «Пельгама» в то время, когда его читал. Вследствие чего мне показался замечателен случай, что его напечатали в той же книжке «Библиотеки для чтения», где и

---

[62] Кутеж (фр.).

[63] Попробуем понять друг друга (фр.).

«Воспоминания». Еще я помню (это было во время моего пребывания в одном доме с бароном Дельвигом). Тогда только что вышел во французском переводе роман Манцони «I promessi sposi» («Les fiancés»)[64]. Он говорил об них: «Je n'ai jamais lu rien de plus joli»[65].

Возвратимся к обеду у Дюме. За десертом («Les 4 mendiants»[66]) г-н Дюме, воображая, что этот обед и в самом деле une partie fine, вошел в нашу комнату un peu cavalierement[67] и спросил: «Comment cela va ici?»[68]. У Пушкина и Алексея Николаевича немножко вытянулось лицо от неожиданной любезности француза, и он сам, увидя чинность общества и дам в особенности, нашел, что его возглас и явление были не совсем приличны, и удалился. Вероятно, в прежние годы Пушкину случалось у него обедать и не совсем в таком обществе. Барон Дельвиг очень любил такие эксцентрические проделки. Не помню во все время нашего знакомства, чтобы он когда-нибудь один с женою бывал на балах или танцевальных вечерах, но очень любил собрать несколько близко знакомых ему приятных особ и вздумать поездку за город, или катанье без церемонии, или даже ужин дома с хорошим вином, чтобы посмотреть, как оно на нас, ничего не пьющих, подействует. Он однажды сочинил, катанье в Красный Кабачок вечером, на вафли. Мы там нашли тогда пустую залу и бедную арфянку, которая, вероятно, была очень счастлива от фантазии барона. В катанье участвовали только его братья, кажется, Сомов, неизбежный, никогда не докучливый собеседник и усердный его сотрудник по «Северным цветам», я да брат Алексей Вульф. Катанье было очень удач-

---

[64] Обрученные (фр.).

[65] «Я ничего красивее не читал» (фр.).

[66] «четверо нищих» (фр.) — десерт из миндаля, орехов, винных ягод и изюма.

[67] Немножко развязно (фр.).

[68] Ну, как здесь идут дела? (фр.).

но, потому что вряд можно было бы выбрать лучшую зимнюю ночь — и лунную, и не слишком холодную. Я заметила, что добрым людям всегда такие вещи удаются оттого, что всякое их действие происходит от избытка сердечной доброты. Он, кроме прелести неожиданных удовольствий без приготовлений, любил в них и хорошее вино, оживляющее беседу, и вкусный стол; от этого он не любил обещать у стариков Пушкиных, которые не были гастрономы, и в этом случае он был одного мнения с Александром Сергеевичем. Вот, по случаю обеда у них, что раз Дельвиг писал Пушкину:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла и яиц гнилых, —
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.

Вот все, что осталось в моей памяти в добавление к тому, что вам уже сообщила прежде.

При этом присоединяю некоторые еще записки: может, они понадобятся вам.

Три встречи с императором Александром Павловичем

(1817–1820 гг.)

I

Теперь, когда я ослепла и мне прочли чрезвычайно замечательное произведение графа Л. Н. Толстого «Война и мир», где, между прочим, говорится о страстном, благоговейном чувстве, ощущавшемся всеми молодыми людьми к императору Александру Павловичу в начале его царствования, мне так ясно, так живо, так упоительно представилась та эпоха, и воротились те живые, никогда не забываемые мною воспоминания, о которых мне захотелось рассказать.

Расскажу первую — незабвенную встречу мою с императором Александром Павловичем в 1817 году. В Полтаве готовился смотр корпуса г-на Сакена, в котором муж мой, Керн, служил дивизионным командиром. Немного прибитая на цвету — как говорят в Малороссии, — необыкновенно робкая, выданная замуж и слишком рано, и слишком неразборчиво, я привезена была в Полтаву. Тут меня повезли на смотр и на бал, где я увидела императора.

У меня была подруга еще моложе меня и вышедшая замуж тоже за генерала, старее гораздо ее, но образованного, приятного и очень умного человека, который умел с нею обращаться, — и мы с нею вместе ездили на смотр и вместе стояли на этом бале, против группы, где стоял император, Сакен и его état-major[69].

Я находила, что эта моя подруга гораздо лучше меня одета: на ней была куафюра с пером, очень украшавшая ее молодое, почти детское личико, и она мне сказала, что муж выписал ей эту куафюру потому, что государь любил по-

[69] Штаб (фр.).

добный головной убор без других украшений. Как мне досаден сделался мой голубой с серебряными листьями цветок.

Сакен был со мною знаком проездом через Лубны, где я жила у отца до замужества, останавливался у нас в доме и весьма благоволил ко мне.

Его позволение Керну на мне жениться было какое-то нежное поздравление близкого родственника, более чем начальника.

Он и указал государю на меня, и сказал ему, кто я.

Император имел обыкновение пропустить несколько пар в польском прежде себя и потом, взяв даму, идти за другими. Эта тонкая разборчивость, только ему одному сродная, и весь он, с его обаятельною грацией и неизъяснимою добротой, невозможными ни для какого другого смертного, даже для другого царя, восхитили меня, ободрили, воодушевили, и робость моя исчезла совершенно. Не смея ни с кем говорить доселе, я с ним заговорила, как с давнишним другом и обожаемым отцом! Он заговорил, и я была на седьмом небе, и от ласковости этих речей, и от снисходительности к моим детским понятиям и взглядам!

Он говорил о муже моем, между прочим: «C'est un brave soldat»[70]. Это тогда так занимало их! Потом сказал: «Venez à Pitersbourg chez moi»[71]. Я с величайшею наивностью сказала, что это невозможно, что мой муж на службе. Он улыбнулся и сказал очень серьезно: «Il peut prendre un semestre»[72]. На это я так расхрабрилась, что сказала ему: «Venez plutôt à Loubny! C'est si beau Loubny!»[73] Он опять засмеялся и сказал: «Je viendrai, absolument, je viendrai!»[74]

---

[70] Храбрый воин (фр.).

[71] Приезжайте ко мне в Петербург (фр.).

[72] Он может взять полугодовой отпуск (фр.).

[73] Лучше вы приезжайте в Лубны! Лубны — это такая прелесть! (фр.).

[74] Приеду, непременно приеду! (фр.).

Я возвратилась домой такая счастливая и восторженная, рассказала мужу весь разговор с царем и умоляла устроить мне возможность еще раз взглянуть на него, что он и исполнил.

Я поехала к обедне в маленькую полковую церковь, разбитую шатром на поле Полтавской битвы, у дубового леска, и опять имела счастие его увидеть, им любоваться и получить сперва серьезный поклон, потом, уходя, ласковый, улыбающийся.

По городу ходили слухи, вероятно несправедливые, что будто император спрашивал, где наша квартира, и хотел сделать визит... Потом много толковали, что он сказал, что я похожа на прусскую королеву. На основании этих слухов губернатор Тутолмин, очень ограниченный человек, даже поздравил Керна, на что тот с удивительным благоразумием отвечал, что он не знает, с чем тут поздравлять? Сходство с королевой было в самом деле, потому что в Петербурге один офицер, бывший камер-пажом во дворце при приезде королевы, это говорил моей тетке, когда меня увидел. Может быть, это сходство повлияло на расположение императора к такой неловкой и робкой тогда провинциалке!

II

Многие восхищались в то время — кто Сухозанетом, который был тогда очень молодым генералом, кто графом Орловым, генерал-адъютантом.

Я никого не замечала, ни на кого не смотрела: разве можно смотреть по сторонам, когда чувствуешь присутствие божества, когда молятся?

Это были только мужчины: красивые ли, не красивые — мне было все равно. А он был выше всего! Я не была влюблена... я благоговела, я поклонялась ему!.. Этого чувства я не променяла бы ни на какие другие, потому что оно было вполне духовно и эстетично. В нем не было ни задней мысли о том, чтобы получить милость посредством благосклонного

внимания царя, — ничего, ничего подобного... Все любовь чистая, бескорыстная, довольная сама собой.

Если бы мне кто сказал: «Этот человек, перед которым ты молишься и благоговеешь, полюбил тебя, как простой смертный», — я бы с ожесточением отвергла такую мысль и только бы желала смотреть на него, удивляться ему, поклоняться, как высшему, обожаемому существу!..

Это счастие, с которым никакое другое не могло для меня сравниться!

III

А что говорили мне все окружающие царя, танцуя со мною, право, не помню, и не смотрела я на них и не слушала их. Они все толковали о прелестной музыке Болугиянского оркестра, и действительно, она была обворожительна; царь тоже ею восхищался.

Возвратясь после смотра домой в Лубны, я предалась мечтаниям ожидающего меня чувства матери, о котором пламенно молилась и желала. Тут примешивалась теперь надежда, позже осуществившаяся, что император будет восприемником моего ребенка!

Еще до этого события мне удалось сделать путешествие в Киев в сообществе моей матери, и я там имела счастие вместе с нею посетить бесподобное семейства Раевских. Впечатление незабвенное и вполне эстетическое. Николай Николаевич Раевский представил жене своей моего мужа, назвав его: «mon frère d'ar-mes»[75]. Она сейчас приняла меня под свое покровительство, приголубила и познакомила со всеми дочерьми своими. Старшая, полная грации и привлекательности, сама меня приласкала. Это красавица Нина, о которой потом вспоминал Пушкин. Меньшая была Мария, кроткая брюнетка, вышедшая потом за Волконского.

---

[75] Мой брат по оружию (фр.).

Я многих там увидела, с которыми потом довелось встречаться в свете: и Дубельт, и m-me Фролова, на которую так все бы и хотелось смотреть! Киев сам мне представился в обворожительном виде: мы подъезжали к нему в ясный ноябрьский вечер — теплый и солнечный, когда закат позлащал главы церквей его. Ничего не могло быть восхитительнее.

Вскоре мы возвратились домой, где я, выздоравливая после долгих страданий, сопровождавших мое новое звание матери, узнала, во-первых, что император вспомнил обо мне и хвалил меня в самых лестных выражениях тетке моей Мертваго[8], которая представлялась императрице Марии Федоровне в ее кабинете, куда он нечаянно вошел. Он сказал тетке, что имел удовольствие со мною познакомиться, и прибавил: «Elle est charmante, charmante, votre nièce»[76]. Какое внимание и какая память!

Потом тою же весною муж мой Керн попал в опалу, вследствие своей заносчивости в обращении с Сакеном.

Я забыла сказать, что немедленно после смотра в Полтаве господин Керн был взыскан монаршею милостью: государь ему прислал пятьдесят тысяч за маневры.

Надобно сказать, что Сакен, поближе узнав Керна, не очень благоволил к нему и, зная нашу интимную жизнь, не слишком его уважал.

Следующий за тем смотр должен был быть в Вознесенске. Керну захотелось туда поехать, чтобы лично поблагодарить царя за его милость, — и он просил позволения на то у корпусного своего командира, Сакена. Сакен был им за что-то недоволен и сказал, что отпуск ему теперь не может разрешить. Настаивать было нечего. Керн раскланялся, да, недолго думая, взял и поехал в Вознесенск и без позволения. Этого еще мало, — кроме такого преступления против субординации, он, на одной из последних станций перед Вознесенском,

---

[76] Она очаровательна, очаровательна, ваша племянница! (фр.).

найдя Сакена спящим, обогнал его, взяв приготовленных ему лошадей. Старик справедливо возмутился и, при представлении генералов царю, на него пожаловался императору, и царю его вовсе не представил, а на другой же день в приказе стояло: «Генералу Керну состоять по армии!» С этим известием Керн воротился к нам и тотчас же решил поехать в Петербург просить о службе. Поехал, но не был допущен к царю, и князь Петр Михайлович Волконский велел ему сказать, что царь не может его принять и что он сам лучше знает за что.

Это все передала отцу моему, бывшему тогда в Петербурге, его сестра Оленина, которая просила князя Волконского за моего мужа, как за своего родственника. Не скажу, чтоб это меня особенно огорчило. Отсутствие мужа так благодатно на меня действовало, что я забывала и о его службе, и о смотрах, и о своем блеске, в который на минуту окунулась... Я жила при матери, которую обожала, и кормила свою девочку.

Зимою *старшие* решили, что нам не худо проехаться в глубину России и повидаться с родными. Мы поехали сперва в Липецк, где жил брат моего мужа, потом в Москву к теткам, Мертваго и Полторацкой, жене Дмитрия Марковича Полторацкого, только что умершего моего крестного отца и лучшего из людей.

Приехав в Грузине к старой и страшной бабушке моей Агафоклее Александровне Полторацкой, мы узнали, что отец мой в Петербурге и зовет туда Керна еще попытаться как-нибудь у царя. Он звал его одного, и я была бы очень рада не ехать, но бабушка решила, что жена не должна оставаться без мужа, и мы поехали. Это все клоню я к тому, что это привело ко второй моей встрече с императором, хотя на мгновение, но не без следа. Император, как все знают, имел обыкновение ходить по Фонтанке по утрам. Его часы всем были известны, и Керн меня посылал туда со своим племянником из пажей. Мне это весьма не нравилось, и я мерзла и

ходила, досадуя и на себя, и на эту настойчивость Керна. Как нарочно, мы царя ни разу не встречали.

Когда это бесплодное гулянье мне надоело, я сказала, что не пойду больше, — и не пошла. За то случай мне доставил мельком это счастье: я ехала в карете довольно тихо через Полицейский мост, вдруг увидела царя почти у самого окна кареты, которое я успела опустить, низко и глубоко ему поклониться и получить поклон и улыбку, доказавшие, что он меня узнал.

Через несколько дней Керну, бывшему дивизионному командиру, князь Волконский от имени царя предложил бригаду, стоявшую в Дерпте. Муж согласился, сказав, что не только бригаду, роту готов принять в службе царя.

IV

В этот мой приезд в Петербург я встретила Пушкина в доме тетки моей Олениной. Отец меня представил Крылову, Гнедичу, и я видела Карамзина с его гордой, даже надменной супругой. Некто сказал, когда вошел Карамзин и жена его в залу, где разыгрывались шарады: «Qui, c'est là m-me Карамзин, on le voit à sa morgue!»[77]

Больше я их не видала: она была первою любовью Пушкина. Все знают, что он пожелал получить ее благословенье перед смертью. Я думаю, он никого истинно не любил, кроме няни своей и потом сестры. В этот же приезд мой в Петербург, когда разрешили балы после смерти Екатерины Павловны, любимой сестры императора, я была представлена, моею бабушкою Муравьевой, госпоже Афросимовой, так верно списанной графом Л. Н. Толстым. Представление было успешно: я имела счастье ей понравиться. Встретив пасху у родных в Тверской губернии, мы направились к новому назначению моего мужа, в Дерпт. Этот милый Дерпт всегда мне будет памятен. Мне там было хорошо.

---

[77] Да, это г-жа Карамзина, ее по спеси узнаешь! (фр.).

Ко мне туда приехали дорогие гостьи: тетка и многолюбимая сестра Анна Николаевна Вульф, которая приехала летом и осталась у меня гостить до зимы. Мы там много читали, много гуляли, выходили и выезжали всегда вместе. Керн лечился — я тоже брала ванны и лечилась понемногу.

Знакомство наше было не многочисленное, но такое, как лучше нельзя пожелать. Девицы Фурман, из которых одна долго жила у моей тетки Олениной... Они меня познакомили с Мойер и матерью ее Протасовой.

M-me Мойер, ангел во плоти, первая любовь Жуковского и его муза, подружилась с нами, и мы почти каждый день виделись. У нее не было тогда детей, хотя она страстно их желала. Между ними не было страстной любви, только взаимное уважение. Она любила прежде Жуковского — и любовь эта, чистая и высокая, кажется, не угасала никогда. Впоследствии бог дал ей желанное дитя, и я его видела через несколько лет подле бабушки ее, грустной, осиротелой матери...

Мария Андреевна умерла, кажется, после родов.

Никогда не забуду времени, проведенного с нею и у нее в ее маленьком садике или в ее уютной гостиной, слушая музыку: она с мужем играла очень хорошо на фортепиано в четыре руки, оба близорукие и в очках; или осенью сидящую на маленьком стуле, где-нибудь за дверью и убаюкивающую дитя, взятое у родных мужа, которое баловала изо всех сил.

Не мудрено, что я уже никуда не хотела из такой эстетической среды. Но мне повелели ехать на маневры в Ригу, и я скрепя сердце поехала в сопровождении милой сестры, ободрявшей меня своей любовью и ласками.

Нас посещал иногда дивизионный наш командир, генерал Лаптев, весьма суровая и непривлекательная личность, принявший сначала мужа весьма неблагосклонно, потом сделавшийся нам приятелем и даже доброжелателем, так что когда по команде прислан был мне великолепный фермуар, подарок кума-императора, то он привез мне его сам

и выразился весьма фигурально — о сиянии от бриллиантов около фермуара... Не припомню хорошенько выражения, но тут был очень тонкий комплимент моей красоте.

Увы! Я не долго пользовалась этим дорогим украшением.

Мне говорили, что этот фермуар был сделан на заказ в Варшаве и стоил шесть тысяч ассигнациями.

У нас бывал тоже генерал Кайсаров. Он очень заботился о восстановлении Керна в прежних его правах и ухаживал за мною. Я его не любила за то, что он мне казался фальшив, умея угождать Керну, и еще за то, что был красив собою, а я не любила писаных красавцев, каким он был, самонадеян и — генерал, в худшем значении этого слова.

Мы переезжали из города в город, поджидая и осматривая полки нашей бригады. Керн ездил то провожать их, то встречать; а мы с Анной Николаевной жили в маленьком городке Валке, в весьма поэтическом домике с садиком, при выезде из города.

Мы долго тут еще жили: до начала, маневров и приезда государя.

Очень было весело и даже шумно. У хозяйки было несколько сестер и муж, хотя пожилой, но без селадонных нежностей и ухаживаний за молодою, хорошенькою женою... Он был очень важен и серьезен.

Они нас однажды позвали обедать, и меня очень удивило меню обеда: было одно большое блюдо рябчиков, весьма вкусно приготовленных в соусе, — и потом вафли, сыр и десерт. Блюда подавали по два раза, но только всего два и никогда больше.

Однажды вечером, в сумерках, прибегает Кайсаров с озабоченным видом: он не знал, что мы здесь, и долго нас искал.

— Je vous cherche partout[78], — сказал он, — мне нужно с вами поговорить.

---

[78] Я везде вас ищу (фр.).

— Что такое?

— Не хотите ли написать письмо к Сакену? Я слышал, он хорошо к вам расположен.

— Охотно! — отвечала я ему, села и написала... В этом письме я просила его забыть его неудовольствия к мужу и проч. Письмо Кайсаров сам взялся доставить и удалился.

На другой день был какой-то смотр еще до царя — репетиция.

Я туда поехала с сестрою и несколькими знакомыми дамами.

Я замечаю, что, неведомо себе, я в своем рассказе отдаляю замечательную, не только знаменательную, дорогую для меня — последнюю встречу с императором! Продолжаю. Моя карета стояла на весьма почтительном отдалении от места действия, так что я весьма удивилась, когда несколько всадников отделились от группы генералов и всего état-major и направились в мою сторону, имея во главе своей, тогда уже белого, как снег, главнокомандующего Сакена. Они подъехали к карете, и Сакен протянул мне руку в открытое окно кареты и осыпал меня приветствиями и любезностями, поцеловал мою руку и сказал на прощанье: «Soyez tranquille, ma chère Анна Петровна, je ferai pour vous tout ce qui sera en mon pouvoir»[79].

Мне сделалось так отрадно и весело, что я просила моих дам уехать, чтобы дома подумать о лестном обещании в ожидании бала. Я обещала им повезти их на настоящий смотр и маневры.

В этот же день приехал император и обедал со свитою главнокомандующего и прочими генералами у дворянства.

Вечером приготовили бал в зале собрания.

Мы с сестрою переехали в городской дом наших хозяев и провели весь день тихо и мирно вдвоем. Керн обедал там же и

---

[79] Будьте покойны, милая Анна Петровна, я сделаю для вас все, что от меня будет зависеть (фр.).

возвратился довольно поздно в очень радостном расположении духа и начал меня, всегда ленивую, торопить туалетом, говоря, что я и то опоздала, что не хорошо приехать на бал позже императора. При этом рассказал утешительное известие о своем свидании с царем и некоторого рода примирении.

— За обедом, — сказал он, — император не говорил со мною, но по временам смотрел на меня. Я был ни жив ни мертв, думая, что все еще состою под гневом его! После обеда начал он подходить то к тому, то к другому — и вдруг подошел ко мне: «Здравствуйте! Жена ваша здесь? Она будет на бале, надеюсь?»

На это Керн, натурально, заявил свою горячую признательность за внимание, сказал, что я непременно буду, и приехал меня торопить.

Я всегда имела странную особенность: как бы ни желала куда-нибудь ехать, особенно на балы, которые я очень любила, когда настанет минута отправляться, меня одолевала робость и нежелание двинуться, так, казалось бы, хорошо было остаться дома.

Но нечего делать, мы с сестрою начали одеваться; я позаботилась и о ее туалете. О своем же мне никогда не нужно было заботиться, мне было заранее выписано из Петербурга платье — тюлевое на атласе и головной убор: маленькая корона из папоротника с его воображаемыми цветами. Это было очень удобно для меня или моей лени и неуменья наряжаться. Я только заплела свою длинную косу и положила папоротниковую коронку, закинув длинные локоны за ухо, и прикрепила царский фермуар, как вошел муж, и мы втроем поехали...

Можно сказать, что в этот вечер я имела полнейший успех, какой когда-либо встречала в свете!

Мы вошли. Царя еще не было. Слава богу. Зала была полна; но я заметила, не доходя до конца этой длинной овальной залы, на котором сидели почетные дамы, маркизу

Паулучи (первую жену маркиза), больную и весьма несчастную на вид, и другие важные лица, и чтобы не заходить далеко и высоко, мы поместились с сестрою около менее важных дам в уголке, у печки... На середине комнаты стояли мужчины из свиты императора и важнейшие лица, как, например, маркиз Паулучи, и проч.

Пока император не приехал, музыка не играла, слышен был только сдержанный говор ожидавших его...

Сакен меня заметил и, подойдя, вывел почти на середину залы, где остановился, и осыпал меня комплиментами, и просил снять длинную перчатку, чтобы расцеловать мне руку; я очень сконфузилась, разумеется, оробела, неловко раскланялась с ним и воротилась в свой уголочек.

Я об этом распространяюсь потому, что много лет спустя, когда я была в Риге, мне напоминали некоторые знакомые о моей робости и скромности, очень нравившихся во мне всем...

Керн подвел меня к маркизе; ему, кажется, хотелось, чтобы она меня усадила подле себя, но я, раскланявшись, удалилась опять в свой угол — и благо мне было!

Скоро вошел император, грянула музыка с хор, и m-me Сеси, — ожидавшая там, — своим громким голосом пропела ему хвалебный гимн. Он кончался припевом:

Viva, Alexander, viva!
L'onor di nostra Età[80].

Никогда я столько не восхищалась походкой императора, ему одному свойственной! Он не ступал по зале, а как будто несся на облаках, — спросите у очевидцев — все это скажут. В этой походке примешивалась робость к неописанной грации. Он вошел, остановился, выслушал гимн г-жи Сеси с благосклонной улыбкой, прошел несколько далее и, по странной, счастливой случайности, остановился прямо против меня и

[80] Да здравствует Александр! Гордость нашего века *(ит.)*.

очень близко, потому что толпа в средине так была велика и пространство между ею и дамами, сидевшими вокруг залы, было так мало, что нужно было только сделать один шаг и протянуть руку, чтобы ангажировать даму. Маркиз Паулучи сделал список дамам, который и прочитал императору... Ему, кажется, хотелось, чтобы император соблюл в танцах чинопочитание, но император обратился, не дослушав списка, к его супруге в перьях, которой несколько раз делалось дурно от страха: она боялась, как огня своего мужа; потом император взял в польский свою хозяйку, англичанку, жену негоцианта.

Потом увидал меня, свое скромное vis-à-vis, — и быстро протянул руку. Начались обычные комплименты, а потом сердечное выражение радости меня видеть — и расспросы о моем здоровье. Я сказала, что долго хворала и что теперь надеюсь полного выздоровления от чувства счастья по случаю возвращения его благосклонности к моему мужу. Он вспомнил, что мельком меня видел в Петербурге, и прибавил: «Vous savez pourquoi cela n'a pu être autrement»[81].

Я уж и не знаю, что он хотел этим сказать. Не потому ли только не встречался и не разговаривал со мною, что все еще гневался на Керна?..

Первые пары нас, по обычаю польского, разлучили; потом он еще раз меня взял и продолжал начатый разговор. Он сказал, что помнит, как мы молились в Полтаве, «dans cette petite église, si vous vaus souvenez?»[82]

Я сказала, что такие минуты не забываются. А он заметил: «Jamais je n'oublierai le premier moment où je vous ai vu!»[83]

Далее добавил: «Dites-moi, desirez-vous quelque chose?»[84] Не могу ли я вам быть полезен?»

---

[81] Вы знаете, почему не могло быть иначе (фр.).

[82] в той маленькой церкви, если вы помните? (фр.).

[83] Никогда не забуду первую минуту, когда я вас увидел! (фр.).

[84] Скажите, не желаете ли вы чего-нибудь? (фр.).

Я отвечала, что по возвращении его благосклонного прощения моему мужу мне нечего больше желать, и я этим совершенно счастлива. Опять перервали польский, и в третий раз он меня взял, чтобы опять спросить: не нужно ли мне что от него, и сказал эти незабвенные для меня слова: «Je veux que vous soyez dans l'aisance!»[85] — и с нежною добротой проговорил: «Adressez-vous à moi comme à un père!»[86]

После этого спросил еще: буду ли я завтра на маневрах. Я отвечала, что непременно буду, хотя вовсе этого прежде не желала, боясь до смерти шума и стрельбы. Немного погодя Кайсаров подбежал ко мне и сказал: «J'espére que vous devez être contente de votre soirée?»[87]

V

Маневры сорокатысячного корпуса были за Двиной, по ту сторону Московского форштадта, на огромном поле. В конце этого поля сооружена была весьма красивая галерея, обвитая зеленью, — совсем сквозная: на стороне ее, обращенной к полю, был балкон, с которого дамы смотрели на маневры, — а когда все кончилось и в нижней части галереи накрыли стол, и все съехались с маневров обедать, то дамы, обратившись назад к балюстраде, могли видеть обедающих.

Случай доставил мне место прямо над верхним концом стола.

Император шел очень тихо и грациозно, все пропуская перед собою старика Сакена, потом посадил его на первое место в конце стола, по правую свою сторону.

Когда они уселись, заиграла музыка, очень хорошая, одного из наших морских полков, — и заиграла любимые мои арии вместо увертюр...

---

[85] Я хочу, чтобы вам было хорошо! (фр.).

[86] Обращайтесь ко мне, как к родному отцу! (фр.)

[87] Надеюсь, вы довольны сегодняшним вечером? (фр.).

Формалист Лаптев, дивизионный командир, весьма взволновался этим, особенно когда они заиграли прелестный русский мотив с вариациями:

Возле речки, возле мосту....

Император, разумеется, не обращал на это никакого внимания. Он в это время просил, делая знаки рукой, чтобы не отталкивали бедную, очень старую женщину, которая все еще двигалась вперед, чтобы лучше на него посмотреть.

Между тем Сакен взглянул кверху и приветливо мне поклонился. Это было так близко над их головами, что я слышала, как император спросил у него: «Qui saluez vous, général»[88]

Он отвечал: «C'est m-me Kern!»[89]

Тогда император посмотрел наверх и, в свою очередь, ласково мне поклонился. Он несколько раз смотрел потом наверх. Я любовалась всеми его движениями и в особенности манерой резать белый хлеб своею белою прекрасною рукой.

Но — всему бывает конец — и этому счастливому созерцанию моему настала минута — последняя! Я и не думала тогда, что она будет самая последняя для меня...

Вставая из-за стола, император поклонился всем — и я имела счастье убедиться, что он, раскланявшись со всеми и совсем уже уходя, взглянул к нам наверх и мне поклонился в особенности. Это был его последний поклон для меня... До меня дошло потом, что Сакен говорил с императором о моем муже и заметил, между прочим: «Государь, мне ее жаль!»

Он ушел — другие засуетились, и блистательная толпа скрыла государя от меня навеки...

---

[88] Кому вы это кланяетесь, генерал? (фр.).

[89] Это г-жа Керн!» (фр.).

Из воспоминаний о моем детстве

«Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя...»

Февраль 1870 г. Лубны

Начну с начала. Не думайте, почтенный мой читатель (если я удостоюсь такового иметь), что *начало* ничего не значит; напротив, я убедилась долгим опытом, что оно много и много значит! Роскошная обстановка и любовь среды, окружающей детство, благотворно действуют на все существо человека, и если вдобавок, по *счастливой случайности*, не повредят сердца, то выйдет существо, презирающее все гадкое и грязное, не способное ни на что низкое и отвратительное, не понимающее подкупности и мелкого расчета. Дайте только характер твердый и правила укрепите; но, к несчастию, пока все или почти все родители и воспитатели на это-то и хромают; они почти сознательно готовы убивать, уничтожать до корня все, что обещает выработаться в характер самостоятельный в их детях. Им нужна больше всего покорность и слепое послушание, а не разумно проявляющаяся воля...

Я родилась в Орле, в доме моего деда Ивана Петровича Вульфа, который был там губернатором. Мне и теперь случалось встречать старожилов, вспоминающих о нем с благоговением, как о высокой и благодетельнейшей личности. Я часто повторяюсь в моих воспоминаниях об этом бесподобном человеке, но мне бы хотелось, чтобы узнали все, как он расточал когда-то всем окружающим благодеяния и ласки. Я опять обращусь к нему впоследствии; но теперь довольно.

Бабушка моя Анна Федоровна, дочь Федора Артамоновича Муравьева, ездила со всем своим семейством в Петербург в конце прошлого века к брату Николаю Муравьеву, бывшему С.-Петербургскому обер-полицмейстеру, по случаю женитьбы

его на Наталии Васильевне Апраксиной, очень богатой, некрасивой, сварливой и скупой... Брак был по расчету... Заключено было условие между ними, что оставшийся в живых получит все состояние умершего... Николай Федорович умер прежде Наталии Васильевны, и она присоединила 70 душ его к своим 2000 и 50 лет после него жила и играла в карты...

Во время поездки моей бабушки в Петербург мать моя Екатерина Ивановна вышла замуж за Петра Полторацкого, сына Марка Федоровича и известной Агафоклеи Александровны, рожденной Шишковой; а брат ее Николай Иванович Вульф женился на Прасковье Александровне Выndомской. Это была замечательная пара. Муж нянчился с детьми, варил в шлафроке варенье, а жена гоняла на корде лошадей или читала Римскую историю... От последнего брака произошли: друг Пушкина Алексей Николаевич Вульф, сестра его Анна Николаевна, с которою я была дружна всю жизнь, Вревская Евпраксея и другие.

После этих свадеб дедушка получил место губернатора в Орле и поехал туда с бабушкой и двумя парами новобрачных.

Я родилась под зеленым штофным балдахином с белыми и зелеными страусовыми перьями по углам 11-го февраля 1800 года. Обстановка была так роскошна и богата, что у матери моей нашлось под подушкой 70 голландских червонцев, положенных посетительницами[90].

Мать моя, восторженно обрадованная моим появлением, сильно огорчалась, когда не умели устроить так, чтобы она могла кормить; от этого сделалось разлитие молока, отнялась нога, и она хромала всю жизнь.

---

[90] Эти червонцы занял Иван Матвеевич Муравьев-Апостол в 1807 году. Он был тогда в нужде. Впоследствии он женился на богатой и говорил, что женился на целой житнице, но забыл о долге... Что, если бы наследники вспомнили о нем и помогли мне теперь в нужде?.. (Прим. А. П. Керн).

Мать моя часто рассказывала, как ее огорчало, что сварливая и капризная Прасковья Александровна не всегда отпускала ко мне кормилицу своей дочери Анны, родившейся 3 месяцами ранее меня, пока мне нашли другую.

Батюшка мой с пеленок начал надо мною самодурствовать... Он был добр, великодушен, остроумен по-вольтеровски, достаточно по тогдашнему времени образован и глубоко проникнут учением Энциклопедистов, но у него было много задористости и самонадеянности его матери Агафоклеи Александровны, урожденной Шишковой, — побуждавших его капризничать и своевольничать над всеми окружающими... От этого его обращение со мною доходило до нелепости... Когда, бывало, я плакала, оттого, что хотела есть или была не совсем здорова, он меня бросал в темную комнату и оставлял в ней до тех пор, пока я от усталости засыпала в слезах... Требовал, чтобы не пеленали и отнюдь не качали, но окружающие делали это по секрету, и он сердился, и мне, малютке, доставалось... От этого прятанья случались казусы, могшие стоить мне жизни.

Однажды бабушка унесла меня, когда я закричала, на двор во время гололедицы, чтобы он не слыхал моего крика; споткнулась на крыльце, бухнулась со всех ног и меня чуть не задавила собою.

В другой раз две молодые тетушки качали меня на подушке, чтобы унять мои слезы, и уронили меня на кирпичный пол... Это было в дороге. Батюшка вез матушку лечиться в Сорочинцы (Полтавской губернии) к знаменитому тогда Трофимовскому. Он направлялся к живописным Лубнам, где ему хотелось укорениться. В Лубенском уезде дано ему было бабушкою моею в управление имение в 700 душ.

В обращении с крестьянами и прислугою он проявлял большую гуманность. Он был враг телесных наказаний и платил жалованье прислуге в то время, когда на мужиков смотрели исключительно как на рабочую силу... Впрочем,

несмотря на гуманность, он, в припадке спекулятивных безумий, продал раз на своз целое селение крестьян.

Спекуляции его разорили. Они имели характер более поэтический, чем деловой, и лопались, как мыльные пузыри.

Чтобы отдохнуть от лечения и разных семейных забот и смущений, мать поехала вместе со мною и другой дочерью, которую сама кормила, к родителям своим, жившим тогда в Тверской губернии, в собственном имении Бернове. В Бернове мы прожили год, потому что я и сестра заболели скарлатиною, от которой сестра умерла. Из этого года мне памятны няня Васильевна, которая варила мне кашу из сливок, крики на нее батюшки, чтобы она не смела усыплять меня сказками и вообще сидеть около меня, когда я уже положена в постельку, болезнь и противные лекарства, которые меня заставляли принимать. Засыпать одной была мне ужасно, и мне казалось, что приказание батюшки, чтобы няня не сидела возле меня, пока я засну, отдано было мне назло, так как я боялась одиночества в темноте...

Нас было несколько детей в Бернове, из них помню хорошо одну Анну Николаевну Вульф, с которою мы были дружны, как родные сестры. Мы обедали на маленьком столике в столовой, прежде обеда старших за час или за два. За обедом присутствовала одна из наших няней: моя Пелагея Васильевна и ее Ульяна Карповна, обе добрые, усердные и ласковые. Мне было хорошо и привольно в Бернове, особенно в отсутствие батюшки: все были очень внимательны и нежны ко мне, в особенности наш бесподобный дедушка Иван Петрович Вульф.

Он очень любил птиц. В обеденной зале, смежной с его кабинетом, находилась вольерка с канарейками. Там были гнезда, и их было очень много. Однажды я села на колени к дедушке и сказала ему: «Я думаю, что жареные канарейки очень вкусны, и я бы хотела, чтобы он приказал жарить мне канареек». Мне не приходило в голову, что их для этого надо

убивать: я никогда не ходила в кухню, она отстояла далеко от дому, и не имела понятия о том, как готовятся кушанья... Дедушка не сделал никакого наставления по поводу моего жестокосердия и со своею доброй, кроткой улыбкой сказал: «Хорошо, я велю...» И когда я ушла из залы, приказал стрелять воробьев и жарить... Пользуясь, впрочем, этим, было украдено несколько канареек, и я, заметив убыль, объявила дедушке, что уже довольно жарить канареек, что их уже мало осталось... Дедушка никогда не сердился и на этот раз никого не бранил за пропажу канареек, а выразил только огорчение... и воровство прекратилось. Никто не слышал, чтобы он бранился, возвышал голос, и никто никогда не встречал на его умном лице другого выражения, кроме его обаятельной, доброй улыбки, так мастерски воспроизведенной (в 1811 г.) карандашом Кипренского на стоящем передо мною портрете. Этот портрет рисовался в Твери, и я стояла, облокотясь на стол, за которым сидел дедушка и смотрел на меня с любовью...

Жена дедушки Ивана Петровича — Анна Федоровна была урожденная Муравьева, близкая родственница известного Михаила Никитича Муравьева, воспитателя и друга Александра I. Я помню двух сыновей его, Никиту и Александра, приезжавших к нам из Москвы в Берново. Они были ужасно резвы, сорвиголовы, и я их не любила за бесцеремонность обращения со мною и моей кузиною Анной Николаевной Вульф, мечтавшими выйти замуж за Нуму Помпилия или Телемаха, а в случае неудачи за какого-нибудь из русских великих князей. Бабушка Анна Федоровна и сестра ее Любовь Федоровна, нежно мною любимая и горячо привязанная к моей матери, были аристократки. Первая держала себя чрезвычайно важно, даже с детьми своими, несмотря на то, что входила во все мелочи домашнего хозяйства. Так, например, я помню, что в ее уборную приносили кувшины молока, и она снимала с них сливки для всего огромного ее семейства. Пироги всегда лепились при ней на большом столе в девичьей, огромной

комнате с тремя окнами. Тут пеклись хлебы к светлому празднику и часто разбирался осетр в рост человека. Важничанье бабушки происходило оттого, что она бывала при дворе и представлялась Марии Федоровне во время Павла I с матерью моею, бывшею тогда еще в девицах. Императрица Мария Федоровна, всегда приветливая и ласковая, познакомила мою мать с своими дочерями Еленою и Александрою Павловнами, сравнивала их рост, и мать моя говорила, что она никогда не видала никого красивее их.

Помню, как бабушка Анна Федоровна долго не соглашалась на брак своей дочери Натальи Ивановны с Василием Ивановичем Вельяшевым, добрейшим человеком, но игроком, получившим из-за карт большую неприятность, и как, согласившись потом по убеждению сыновей, устроила парадный сговор... пригласила гостей, и когда все уселись и Василий Иванович подошел к ней, она взяла руку дочери, положила ее в руку жениха и торжественно сказала: «Василий Иванович, примите руку моей дочери...» Потом быстро ушла, сказав дочери тихо: «*Твоя свадьба — мой гроб*»... После этого она скоро умерла... Наталия Ивановна и Василий Иванович были очень добры, любили друг друга и были счастливы, хотя он и разорялся от карт, но жена все ему прощала.

У бабушки и у дедушки я прожила с родителями до трех лет, и потом мы поехали в Лубны, где отец мой строил второй дом на чрезвычайно живописном месте, на окраине горы над Сулою, среди липовых, дубовых и березовых рощ, красиво сбегавших по террасам и холмам к реке... За рекою раскидывался обширный вид верст на 25. Этим видом любовался князь Алексей Борисович Куракин, говоривший, что не видал ничего лучшего в Швейцарии. Этот Куракин бывал у нас в этом втором доме отца и держал меня на руках, когда доктор прививал мне оспу. Я, разумеется, расплакалась во время этой операции, и он, утешая, говорил: «Это блошка укусила» (оспопрививание в ту пору было еще редкостью в Лубнах, и все были в страхе за ме-

ня.) Он был настоящий магнат с величавой осанкой и самою аристократическою грациозностью и ласковостью. Все лицо его сияло добротою и умом. Он был очень образован и любил моего отца. У отца тогда были друзьями замечательные люди, как, например, князь Виктор Павлович Кочубей, близкий императору Александру; князь Лобанов-Ростовский, генерал-губернатор впоследствии, и другие. Все они видели в отце моем благонамеренного и умного деятеля.

Когда мы приехали к нему во второй его дом, то он еще не был достроен, и меня переносили по балкам в оконченные комнаты из сеней... Первый построенный отцом дом в Лубнах был им пожертвован под богоугодное заведение в первое трехлетие его предводительства в Лубенском уезде. Он был в этом уезде выше всех головою, и его уважали все. Прежде служил он при Штакльберге во время посольства его в Швеции, и под влиянием его и развивался, и читал. Что мудреного, что он обаятельно подействовал на простодушных тогда лубенцев и снискал их уважение и расположение.

Тут замечу, что тогдашняя молодежь, хотя и знала менее, чем нынешняя, но то, что выучила, знала основательно, и в ней не было того легкомыслия, того схватывания вершков в науках, той распущенности, какая бросается в глаза теперь... Тогда руководились нравственными принципами и отличались силою убеждений. Не так в настоящее время... Тогда в число научных предметов входили мифология, и один офицер стоявшего в Лубнах полка, Брозин, переписал на память часть «Lettres à Emilie sur la Mythologie par Demoustier»[91] (для моей матери, когда она потеряла ее и очень об этом сожалела... Подобным образом тогдашняя молодежь знала все науки. Ну, да не об этом речь...

Лубны в это время были наполнены отличными людьми, даже по образованию не слишком запоздалыми. Городничий

---

[91] Демустье Ш.-А. «Письма к Эмилии о мифологии» (фр.).

был Артюхов, очень образованный человек, ее портивший нашего кружка. Аптекарь казенной аптеки — старый-престарый Гильдебрандт, очень добрый, почтенный немец, и его жена, радушная и отличная хозяйка, подобно которой мудрено было встретить. Они жили открыто, были очень гостеприимны, и гости наполняли их дом постоянно. Стол был такой лакомый и изобильный, какой теперь трудно встретить. Так было и у дочерей их, из которых одна была за Кулябкою, другая за Новицким, а третья за Пинкорнелли, бывшим впоследствии Городничим в Лубнах. У этой последней обеды доходили до изумительной роскоши. Во всех этих семействах чистота в домах была такою, какой я не встречала нигде. Пинкорнелли не ел никаких других птиц и животных, кроме белых, и говорил: «Que diable, ни про что знать не хочу, мне чтобы все было...» И действительно, являлось все. Кулябкины были образцовые супруги, и хотя жена была лютеранка, а муж ее православный, но она с ним ездила к заутрене даже в трескучие морозы и соблюдала все посты. При этом говорила: «Мне *неможно* не ехать к заутрене, милочка-душечка, когда мой Николай Иванович едет... а потом мы вместе кофе пьем...». Кофе подавали им в разных кофейниках, на том основании, что первая чашка бывает лучше, и чтобы не было никому из них обидно. Их завтраки отличались изобилием и необыкновенною чопорностью. Несметное количество различных пирожков, и много закусок, домашних и купленных, в особенности водки были верх изящества и разнообразия и красовались в граненых графинах, на которых были красивые надписи, Вырезанные из бумаги ярлычки — «*кардамонная*», «*горькая*», «*мятная*» и проч. Гостям приходилось отведывать их хотя по капельке, но пьяных я никогда не видала. Кутеж не был тогда a l'ordre du jour[92]. Случалось, что отдельные личности на праздниках были розовее других, но

[92] в порядке вещей (фр.).

больше ничего. Добрейшая хозяйка этого радушного дома была до того чопорна и до того прюдка[93], что закрывала даже шею платочком от нескромного взгляда. Этот, однако, платочек был вымыт в шафране, чтобы оттенял белизну кожи на лице. Спавши на одной кровати с мужем, она укрывалась отдельно от него простынею и одеялом... У нее однажды сделалась рана на ноге, пригласили доктора, он нашел нужным осмотреть рану, и его заставили смотреть в дырочку на простыне, которая была повешена через комнату, на больную ногу, тщательно закрытую платками, кроме того места, где была рана. Любовь ее к мужу внушила ей одеть его могилу ползущим по земле густым растением с мелкими ярко-зелёными листиками, называемым в Малороссии барвинком. Это было очень красиво и наставляло думать, что в доброй ее душе была поэзия... Все эти три семейства отличались, кроме хлебосольства, чистоплотности, еще такою деликатностью, какой трудно встретить в нынешнем распущенном и плохо воспитанном поколении... Вот поэтому-то с этими добряками приятно и привольно было жить и более просвещенным, чем они, людям. Одна из этой семьи не делала замечаний мужу из деликатности даже тогда, когда он смелыми оборотами доводил семью до разорения, на том основании, как говорила она впоследствии сыну, что все имение принадлежало ей.

Подобных этим было много и в Лубнах, и в уезде. Моя семья со всеми ими водила хлеб-соль.

Из уездных самые близкие были Алексеевы. Они жили на старый манер, очень роскошно, в большом замке, наполненном шутами, приживалками, и даже был сумасшедший... Раз этот последний гостил у нас с ними летом, а я, шестилетняя, гуляла без всякого надзора на горке перед балконом и встретила его... Я предложила ему идти вниз, в гости к очень

---

[93] От *фр.* prude — приторно добродетельный, преувеличенно стыдливый, неприступный.

добрым людям, у которых всегда были для меня лакомства. Он пошел. Надо было перейти по узкому карнизу под горой, над огромным обрывом, и даже было такое место, что пропасть зияла с одной стороны тропинки. Этот сумасшедший взял меня на руки и перенес через опасное место, и мы благополучно дошли через лес к добрым знакомым. Они жили в домике, в роще, на очень живописном месте.

Алексеевы лечились у доктора Голованова, который потом женился на нашей родственнице, проживавшей в нашем доме. Он был высоконравственный, образованный и добрый человек, занимавшийся, кроме медицины, садоводством и доведший свой сад до того, что в нем произрастал виноград и плоды Южной Франции. А что у него были за цветы! Его искусство как медика в соединении с чудным климатом и красивою природою привлекали в Лубны многих больных из очень далеких мест.

У означенных добрых людей сумасшедшему дали водки, а мне конфеты, и мы с ним возвратились домой. Мать моя пришла в ужас от этой прогулки моей с сумасшедшим, могшим швырнуть меня в пропасть, отняла конфеты и засадила в темную комнату. Мне казалось, что лучше бы было, если за мною больше присматривали, чем наказывали без вины. Тут кстати заметить, что хотя *чувство* родительское прекрасно и священно, но *власть* родительская далеко не благотворна в большинстве случаев... Она направляется часто не на воспитание детей, по их способностям и влечениям, а по своим соображениям устраивает их карьеру, не спросясь их желаний и наклонностей, и бросает их в брак сообразно с своими выгодами, а не с сердцем детей, и, в конце концов, выходит несчастие.

Не могу умолчать еще о двух семействах: аптекаре казенной аптеки Виндинге и вольной — Деле. Первый был женат на очень умной швейцарке, занимавшейся воспитанием девочек, и всего себя посвящал на работу в казенном ботаниче-

ском саду. Почтенный же Деле с своей добрейшей женою сделали свою аптеку славною на сотни верст в окружности, заслужив всеобщую любовь и уважение.

Все они до такой степени были гостеприимны и добродушны, что для удовольствия других не щадили ни себя, ни своего покоя. Так, раз батюшка мой вместе со своею семьей и скрипачом приехал ночью, после ужина, к старичкам Гильдебрандтам, разбудил их и устроил танцы. Старички не только не рассердились, но изо всех сил суетились, чтобы угостить, и были очень счастливы, смотря на веселящихся.

Батюшка мой был очень веселого нрава. В нашем обществе являлся и городской голова Роман Федорович Ждан, умный купец, очень почтенная личность по честности и доброте и весьма любезный по своему бесконечному юмору. Он на всех вечеринках пел с нами малороссийские песни и смешил нас местными анекдотами... В особенности он был очень хорош, когда, избрав для шуток своих жертву, рассказывал ей самым добродушным образом смешные про нее же анекдоты. К этим и многим другим тогдашним людям я до сих пор питаю самые добрые чувства.

Гостиные тогдашних дворян оглашались говором военных, отличавшихся необыкновенной учтивостью, любезностью, образованием и далеко превосходивших во всех отношениях нынешних армейских офицеров.

Тогда тут стоял полк Мелиссино, очень умного и доброго серба. Этот генерал говаривал: «*Палытыка, палытыка, а рубатыся треба*!..»

Этот почтенный старик очень был мил со мною. Раз, когда мне было 4 года, один офицер на вечере у нас посадил меня на колени, слушая, как я читаю, и очень любезно со мной шутил... Это так мне понравилось, что я обещала ему выйти за него замуж. Когда он ушел, я сказала матери. Она, смеясь, сообщила это решение Мелиссипо. Старик хотел узнать, кого я осчастливила своим выбором, но я не могла назвать своего

фаворита, потому что не знала его фамилии. Тогда он стал подводить ко мне, сидевшей на комоде, всех офицеров полка... Оказалось, что избранный мной был Гурьев.

Все эти военные и гражданские очень меня ласкали, и среди них прожила я со своею доброю семьей до 8 лет.

Несмотря на постоянные веселости, обеды, балы, на которых я присутствовала, мне удавалось удовлетворять своей страсти к чтению, развившейся во мне с пяти лет. Я все читала тайком книги моей матери... В куклы я никогда не играла и очень была счастлива, если могла участвовать в домашних работах и помогать кому-нибудь в шитье или вязанье... Мне кажется, что большой промах делают воспитатели, позволяя *играть* детям *до скуки*, и не придумывают занимательного для них и полезного труда, верного лекарства от скуки.

Куклы, на мой взгляд, разговоры с ними и прочее приучают детей верить в представления своего собственного воображения, как в действительность, и делают детей самообольщающими себя, мечтательными, обманывающими самих себя... Как я сказала, книги заменяли мне игру в куклы, и я так пристрастилась к чтению, что когда была замужем и жила в Петербурге, то прочла всю библиотеку Лури, и он не знал под конец, что мне давать. Но обратимся к моему детству...

Росла я на свободе и в большом изобилии. Отец мой угощал обедами все сословия и внушал всем любовь, уважение и вместе с тем боязнь попасть ему на зубок. Он был очень остер, и его шутки были очень метки...

Состояние его заключалось в двух деревнях под Лубнами в 700 душ с домами, землях и крестьянах в самих Лубнах. Он потом приобрел 150 душ и 1500 десятин за 40 тысяч ассигнациями и, продав их на своз, купил скота, сварил бульон, которым предполагалось кормить армию во время войны, повез его в Петербург, чтобы продать его в казну, но не хотел подмазать приемщиков, и бульон его забраковали. Он привез его в Москву, сложил его там. Пришел Наполеон и съел бульон...

Подобными аферами полна его жизнь. Так, например, он, получив землю в Киеве (места в Киеве раздавались тогда даром), вздумал построить, не имея ни гроша денег, огромный дом для всех лучших магазинов и ездил к хозяевам этих магазинов, убеждал их заплатить ему вперед за проектированные в будущем доме квартиры годовую плату с тем, что он на полученные деньги устроит им помещения в их вкусе. Рабочие были уже наняты, барак для них был уже достроен в долг, и вся афера кончилась процессом. Всех его афер мне и не перечесть... Упоминаю о них для того, чтобы показать, каким путем мы постепенно доходили до разоренья, несмотря на частую помощь бабушки моей, Агафоклеи Александровны. Это была замечательная женщина. Она происходила из фамилии Шишковых. Вышла замуж очень рано, когда еще играла в куклы, за Марка Федоровича Полторацкого. Ее выдали замуж, разумеется, без любви, по соображениям родителей... Против подобных браков, то есть браков по расчету, я всегда возмущалась. Мне казалось, что при вступлении в брак из выгод учиняется преступная продажа человека, как вещи, попирается человеческое достоинство, и есть глубокий разврат, влекущий за собою несчастие... Ну, да об этом так много писано, что нечего распространяться, тем более что никто не внемлет.

Она имела с ним 22 человека детей. Все дети ее были хорошо воспитаны, очень приветливы, обходительны... но довольно легкомысленны и для красного словца не щадили *никого* и *ничего*. Они были невысокого мнения друг о друге и верили всяким нелепостям про своих. Как бы они ни говорили, ума было много, но чувства мало. Лучший из них и богатейший по жене был Дмитрий Маркович. Он был бесконечно добр.

Отец мой был одним из младших и менее других любимым своею матерью.

Она была красавица, и хотя не умела ни читать, ни писать, но была так умна и распорядительна, что, владея 4000 душ,

многими заводами, фабриками и откупами, вела все хозяйственные дела сама без управляющего через старост. Этих старост она назначала из одной деревни в другую, отдаленную, где не было у них родни. Она была очень строга и часто даже жестока. Жила она в Тверской губернии, в селе Грузинах, в великолепном замке, построенном Растрелли. Он стоял на возвышении. Перед ним лужайка, речка, на ней островки. За ними печальные, выстроившиеся в одну линию каменные избы крестьян. Она всякую зиму лежала в постели и из подушек ее управляла всеми огромными делами, все же лето она была в поле и присматривала за работами. Она из алькова своей прекрасной спальни, с молельною, обитою зеленым сукном, перенесла свое ложе в большую гостиную, отделанную под розовый мрамор, и в этой ее резиденции я впервые увидела ее. Она меня чрезвычайно полюбила, угощала из своей бонбоньерки конфетами и беспрестанно заставляла меня болтать, что ее очень занимало. В этой комнате были две картины: спаситель во весь рост и Екатерина II. Про первого она говорила, что он ей друг и винокур; а вторую так любила, что купила после ее смерти все рубахи и других уже не носила...

Бабушка заметила, что я всегда плакала, когда выдавали горничных девок замуж, дразнила меня часто тем, что обещала выдать замуж за одного из своих старост...

При ней жило много приживалок, и она любила забавляться их болтовней, ссорами, сплетнями. Это все заменяло ей чтение. У нее бывали по преимуществу только те, которые имели с нею дела или надеялись получить от нее какие-либо выгоды, бывали соседи — общество весьма неинтересное, по большей части невежественное, ничего не читавшее, праздное, далекое еще от сознания, что труд обусловливает жизнь, дает ей полноту, смысл, что в нем только человек находит некоторое удовлетворение в своих стремлениях. Посетители бабушки скучны были, скука была неотъемлемою их при-

надлежностью, и они возили ее всюду с собою. Кормила их бабушка дурно. Обеды у нее были преневкусные. Сама же ела сластно за особым столом, сидя на постели. Редкости разные подавались ей в особых сосудах, из них и мне удавалось иногда лизнуть. С батюшкой она была очень холодна, с матерью моею ласкова, а со мною нежна до того, что беспрестанно давала мне горстями скомканные ассигнации. Я этими подарками несколько возмущалась и все относила маменьке. Мне стыдно было принимать деньги, как будто я была нищая. Раз она спросила у меня, что я хочу: куклу или деревню? Из гордости я попросила куклу и отказалась от деревни. Она, разумеется, дала бы мне деревню; но едва ли бы эта деревня осталась у меня, ее точно также бы взяли у меня, как и все, что я когда-нибудь имела.

Так, например, отдавая меня замуж, мне дали 2 деревни из приданого моей матери и потом, не прошло году, попросили позволения заложить их для воспитания остальных детей. Я по деликатности и неразумию не поколебалась ни минуты и дала согласие. На вырученные деньги заведены были близ Лубен фабрики: экипажная, суконная и горчичная... Все они вместе сделали то, что я осталась без имения, а отец мой — с большими долгами. Чтобы вознаградить меня и обеспечить будущность других детей, было завещано бабушкою 120 душ, 50 000 и дана нам другими наследниками движимость Грузин и 60 душ. Все это должно было разделить между мною, двумя моими сестрами и братом. Но батюшка устроил так, что мы отдали ему и это на покупку имения княгини Юсуповой. Покупка не состоялась по неаккуратности отца, потому что мало было денег, и я опять осталась ни с чем. К этой жертве побудил меня брат, писавший, что если я не дам своей части из означенных денег и имения, то все они останутся без куска хлеба. Я сочла себя обязанною исполнить эту просьбу... и приняла ее за обязательство от брата пектись и о моей участи за эту жертву. Брат, пользуясь тем, что означенными деньгами уплочена

была уже часть цены за одно имение Юсуповой, доплатил ей при помощи займа и удачных оборотов сколько причиталось за него и стал обеспеченным человеком — а про мою жертву, помогшую ему составить себе состояние, забыл! Я по восторженной мечтательности своей, вере в брата и родных и по деликатности жертвовала родным, не спрашивая, обеспечат ли они меня за это, и вот около половины столетия перебивалась в нужде... Ну да бог с ними.

Кто не испытал неприятностей от родни? Я удивляюсь подчас, как еще дорожат некоторые родственными отношениями, когда они основаны не на свободном выборе сердца, а на измышленном каком-то долге и когда в жизни много зародышей для ссор и многих стеснений и неприятностей?..

Займусь опять бабушкою и моим счастливым детством... Когда бывала она недовольна кем-нибудь из детей, то проклинала виновного и называла Пугачевым. Батюшка мой чаще всех подвергался ругательствам и проклятиям за свои промахи в делах. Когда он сварил 150 душ в бульоне, то она послала в Малороссию доверенного своего отобрать у отца имения. Впоследствии одно из них ему было возвращено по просьбе Лобанова-Ростовского, благоволившего к отцу. Но прежде этого я, десятилетний ребенок, была свидетельницею страшной сцены по случаю означенного бульона, которою она встретила отца моего, приехавшего к ней из Бернова! Когда он входил к ней, ее чесали. Она вскочила. Седые ее волосы стали дыбом, она страшно закричала, изрекла несколько проклятий и выгнала. Он хотел взять мать и меня и уйти, но она потребовала, чтобы мы остались. Мы просидели у нее целый вечер, и она старалась быть любезной и ни слова не говорила о ссоре ее с отцом. Батюшка пошел к камердинеру своего отца, очень доброму человеку, и провел с ним вечер... На другое утро, в воскресенье, она весь свой двор услала к обедне, а сама осталась дома. Матушка вместе со мною пришла к ней пожелать доброго утра. Она послала за отцом.

Когда тот вошел и подошел к руке, она с ним поцеловалась и сказала: «А мы вот говорим о наших чудесах... Слышал ли ты, какие нынче браки бывают...» Известный нам всем Ф. П. Львов женился на своей двоюродной сестре Львовой, имея 10-х детей от первой жены! Разговор продолжали весьма дружески, и о ссоре помину не было.

В то время, когда она кричала отцу: вон! — она была так страшна, что я была в ужасе и заболела... В доме у нее никто не смел лечиться у докторов, а должен был прибегать к проживавшему у нее грубому венгерцу. Она не терпела докторов и безотчетно верила в невежественного шарлатана. Ко мне его привели было, но я расплакалась, и его увели...

Такова была моя бабушка со стороны отца. Про мужа ее Марка Федоровича Полторацкого мало было слышно. Знаю, что он происходил из дворян Сосницкого уезда Черниговской губернии; что отец его, Федор Полторацкий, вследствие указов Петра I, требовавших, чтобы дворяне служили в военной службе, укрылся под сень духовного звания и был священником в Соснице; что упомянутый Марк Федорович учился в Киевской бурсе, пел там на клиросе в церкви, был взят оттуда Разумовским, восхитившимся его голосом, поступил в придворную капеллу, сделался придворным императрицы Елизаветы Петровны и, пользуясь ее милостями, доставил состояние своим братьям... Энергическая личность бабушки стушевывала его личность.

Противоположностью ей во всем могла служить милая моя бабушка, родная тетка моей матери, девица Любовь Федоровна Муравьева. Поговорим об этой симпатичной, любящей и доброй особе.

Она с самого замужества моей матери жила с нами. Она была любезная старушка. Красавица в молодости, она внушала вдохновение поэтам, и Богданович поднес ей свою «Душеньку»... Не помню я горькой минуты в своей жизни, которою бы я ей была обязана, и таю в глубине сердца самые

светлые о ней воспоминания... Никогда она меня не бранила, никогда не наказывала. Я только знала ее ласки, самые дружеские наставления, как ровне.

Когда я выросла, тогда всегда была готова сознаться ей в какой-либо неосторожности и просить ее совета... Между тем как другие живущие в доме или подводили меня под наказание, или сами умничали надо мною, она всегда была моим другом и защитником. Она продала свое имение за 8000 и отдала их отцу моему, с тем чтобы он содержал ее и ее горничную, которая была другом бабушки. Это также рисует ее доброту. Когда я выходила замуж, то она потребовала, чтобы из ее денег была употреблена 1000 на покупку фермуара для меня. Она ослепла от катарактов, так, как и мне угрожает судьба... Ей сделали неудачно операцию, и она через несколько лет умерла на моих руках...

Я заболталась и забыла, что описываю жизнь в Лубнах в то время, когда мне было 8 лет.

В этом возрасте мать меня повезла в Берново к чудному моему дедушке Ивану Петровичу Вульфу. Она в это время лишилась 3-й своей дочери, ребенка необыкновенной красоты, была неутешна, и батюшка отправил ее к родным вместе с бабушкой Любовью Федоровной. Это было в 1808 году. Господский дом в Бернове стоял на горе задом к саду, впереди его большой двор, окруженный каменною оградою. Далее площадь, охваченная с обеих сторон крестьянскими избами, и в середине ее против дома каменная церковь.

Через несколько времени после нашего приезда в Берново приехали туда из Тригорского Прасковья Александровна и муж ее Николай Иванович Вульфы со своей дочерью Анной Николаевной, моей сверстницей. Был вечер... Горела тускло сальная свеча в конце большой залы... Они сели на стулья у огромной клетки с канарейками, подозвали к себе меня и маленькую свою дочь с ридикюлем и представили нас друг другу, говоря, что мы должны любить одна другую, как родные сестры, что мы исполняли всю свою жизнь.

Мы обнялись и начали разговаривать. Не о куклах, о нет... Она описывала красоты Тригорского, а я прелести г. Лубен и нашего в них дома. Во время этой беседы она вынула из ридикюля несколько желудей и подарила мне. Смело могу сказать, что подобных детей, как были мы, мне не случалось никогда встречать, и да простит меня читатель, если я увлекусь некоторыми подробностями этой дорогой для меня лучшей поры моей жизни... Анна Николаевна не была такой резвой девочкой, как я; она была серьезнее, расчетливее и гораздо прилежнее меня к наукам. Такие свойства делали ее любимицею тетушек и впоследствии гувернантки. Различие наших свойств не делало нас холоднее друг дружке, но я была всегда горячее в дружеских излияниях и даже великодушнее. Взаимная наша доверенность была полная, без всяких задних мыслей. Нас и вели совершенно ровно, и покупали мне то, что и ей, в особенности наблюдал это брат моей матери Николай Иванович, превосходное существо с рыцарским настроением и с любовью ко всему изящному, к литературе... Он поручил старшему брату своему Петру Ивановичу Вульфу, служившему кавалером при великих князьях Николае и Михаиле Павловичах, отыскать гувернантку. Случилось такое обстоятельство, что в это самое время искали гувернантку для великой княжны Анны Павловны, которая была наших лет, и выписали из Англии двух гувернанток: m-lle Сибур, и m-lle Бенуа... Эта последняя назначалась к Анне Павловне, но по своим скромным вкусам и желанию отдохнуть после труженической своей жизни в Лондоне в течение двадцати лет, где она занималась воспитанием детей в домах двух лордов по 10 в каждом, — она предложила своей приятельнице Sybourg заступить свое место у Анны Павловны, а сама приняла предложение Петра Ивановича Вульфа и приехала к нам в Берново в конце 1808 года.

Родители наши тотчас нас с Анной Николаевною ей поручили в полное ее распоряжение. Никто не мешался в ее

воспитание, никто не смел делать ей замечаний и нарушать покой ее учебных с нами занятий и мирного уюта ее комнаты, в которой мы учились. Мы помещались в комнате, смежной с ее спальною. Когда я заболевала, то мать брала меня к себе во флигель, и из него я писала записки к Анне Николаевне, такие любезные, что она сохраняла их очень долго. Мы с ней потом переписывались до самой ее смерти, начиная с детства.

Я всегда вела дневник.

M-lle Benoit была очень серьезная, сдержанная девица 47 лет с приятною, но некрасивою наружностью. Одета была всегда в белом. Она вообще любила белый цвет и в такой восторг пришла от белого заячьего меха, что сделала из него салоп, покрыв его дорогою шелковою материей. У нее зябли ноги, и она очень тепло обувалась и держала их зимою на мешочке с разогретыми косточками из чернослива. Она сама одевалась, убирала свою комнату и, когда все было готово, растворяла двери и приглашала нас к себе завтракать. Нам подавали кофе, чай, яйца, хлеб с маслом и мед. За обедом она всегда пила рюмку белого вина после супа и в конце обеда. Любила очень черный хлеб. После завтрака мы ходили гулять в сад и парк, несмотря ни на какую погоду, потом мы садились за уроки. Оказалось, что, несмотря на выученную наизусть по настоянию матери Ломондову грамматику, Анна Николаевна ничего не знала, я тоже, и надо было начинать все науки. Она начала так: села на стул перед учебным столом, подозвала нас к себе и сказала: «Mesdames, connaissez — vous vos parties du discours?»[94] Мы, не поняв вопроса, разинули рты. Позвали тетушек для перевода; но и они тоже не поняли — это было сказано для них слишком высоким слогом... И m-lle Бенуа начала заниматься с нами по-своему.

Все предметы мы учили, разумеется, на французском языке, и русскому языку учились только 6 недель во время

[94] Сударыни, хорошо ли вы знаете части речи? (фр.).

вакаций, на которые приезжал из Москвы студент Марчинский.

Она так умела приохотить нас к учению разнообразием занятий, терпеливым и ясным, без возвышения голоса толкованием, кротким и ровным обращением и безукоризненною справедливостью, что мы не тяготились занятиями, продолжавшимися целый день, за исключением часов прогулок, часов завтрака, обеда, часа ужина. Воскресенье было свободно, но других праздников не было. Мы любили наши уроки и всякие занятия вроде вязанья и шитья подле m-lle Бенуа, потому что любили, уважали ее и благоговели перед ее властью над нами, исключавшею всякую другую власть. Нам никто не смел сказать слова. Она заботилась о нашем туалете, отрастила нам локоны, сделала коричневые бархотки на головы. Говорили, что на эти бархотки похожи были мои глаза. Хотя она была прюдка и не любила, чтобы говорили при ней о мужчинах, однако же перевязывала и обмывала раны дяди моего больного. Так сильно в ней было человеколюбие.

В сумерках она заставляла нас ложиться на ковер на полу, чтобы спины были ровны, или приказывала ходить по комнате и кланяться на ходу, скользя, или ложилась на кровать и учила нас, стоящих у кровати, петь французские романсы. Рассказывала анекдоты о своих ученицах в Лондоне, о Вильгельме Телле, о Швейцарии. У нас была маленькая детская библиотека с m-me Genlis, Ducray-Duminil и другими, и мы в свободные часы и по воскресеньям постоянно читали. Любимые сочинения были: «Les veillées du château», «Les soirées de la chaumière»[95].

Посторонние посетители допускались только те, которые сами хотели заниматься. Так, входила к нам Прасковья Александровна и училась с нами английскому языку... Бывала

[95] «Вечерние беседы в замке», «Вечера в хижине» (фр.).

также у нас Катерина Ивановна Муравьева, фрейлина великой княжны Екатерины Павловны, и читала нам романы Ducray-Duminil. Она была тогда 17-и лет и совершенная красавица. Она меня очень любила, я ее тоже; но меня удивляло, как она могла находить удовольствие в беседе с ребенком, каким была я?.. Это было очень доброе существо! Говорили, что император восхищался ее красотою и был в нее влюблен!

В Берново часто ездили соседи, и мы ездили раз с m-lle Benoit к соседнему помещику, но ей это не нравилось, и мы проводили время дома. В зале нашего дома иногда по праздникам зимою являлись цыгане, кочевавшие на земле дедушки, плясали и пели, учили нас с Анной Николаевной русской пляске. Этой же пляске, только с театральным оттенком, нас учил Николай Александрович Муравьев, очень любезный и добрый человек, он был моряк. Цыган мы этих каждую зиму встречали, как самых дорогих гостей, цыганки из их табора были нашими приятельницами...

В одну из зим приехала в Берново Екатерина Федоровна Муравьева с двумя сыновьями — Никитой и Александром. Последний был мне ровесник. Нам было по 10 лет тогда. Они с нами резвились, дурачились, обращались очень бесцеремонно, это нам очень не нравилось. Мы о себе так высоко думали, что считали себя достойными только принцев и исторических героев вроде Нумы Помпилия и Телемаха. На этих веселых шалунов влияла, однако, сильно их заботливая добрая мать, и я помню даже, что одного из них впоследствии, именно Александра, когда ему было 19 лет, она услала с бала у Олениных, на котором и я была, в 10 часов домой спать. Это был тот, которому было суждено испить горькую чашу. Брат его Никита, несмотря на влияние матери, бежал было в 12-м году из-под ее ферулы с целью поступить в военную службу и быть в рядах патриотов, защищавших отечество, но так как он говорил в детстве только на английском и на родном языке изъяснялся, как иностранец, то его крестьяне

приняли за француза и представили Растопчину. А тот возвратил его матери. Но я забегаю все вперед...

Жила я в Бернове и воспитывалась у m-lle Benoit с 8 лет до 12-го года. Последний год мы жили уже без бабушки Анны Федоровны. Она умерла в конце 10-го года. Когда она умирала, то меня, чтобы я не была свидетельницею трагических сцен и похорон, увезли на несколько дней в Грузины... После ее кончины батюшка задумал перевезти нас с маменькой в Москву для окончания там моего воспитания. Но прежде летом перевез нас в маменькину деревню и поместил в двух крестьянских избах. M-lle Benoit просила его оставить меня у нее, обещала учить даром, но батюшка не изменил решения. Из деревни мы хотели уже направиться в Москву, но пришел Наполеон, и наш план изменился. Мы поехали в Лубны, и, исколесив 12 губерний, стараясь не наткнуться на французов и объезжая Москву, мы осенью в 12-м году приехали в Лубны. Путешествовали мы в 10 экипажах, на своих лошадях, останавливаясь ради дешевизны корма не в городах, а по деревням. Так мы остановились и под Владимиром.

Батюшка поехал в город и нашел там в большом чьем-то доме много родных и знакомых, бежавших из Москвы. В этом доме была Екатерина Федоровна Муравьева с сыновьями, из которых Никита только что возвращен ей был из бегов... Тут же приютилась и сестра бабушки Анны Федоровны, монахиня Настасья Федоровна, попавшая в монахини случайно, обманом. Мать ее ехала куда-то и заехала в монастырь к знакомой игумене. Та упросила ее оставить дочь в монастыре погостить. Когда же мать вернулась, дочь уже была пострижена. Много было в означенном доме люду.

В числе их была и тетка моя, Анна Ивановна, которая вместе с Пустороеслевыми подобрала где-то на дороге раненного под Москвой Михаила Николаевича Муравьева, которому было тогда только 15 лет. Он лежал в одной из комнат того дома, в котором помещались наши родные и в который

и нас перетащили из деревни. Тетушка приводила меня к нему, чтобы я ей помогала делать корпию для его раны. Однажды она забыла у него свои ножницы и послала меня за ними. Я вошла в его комнату и застала там еще двух молодых людей. Я присела и сказала, что пришла за ножницами. Один из них вертел их в руках и с поклоном подал мне их. Когда я уходила, кто-то из них сказал: elle est charmante![96] Я бы об этой встрече с Муравьевым и не упомянула, если бы впоследствии она не сделалась бы для меня знаменательной... Через 45 лет потом я сидела в Петербурге у двоюродной моей сестры Безобразовой среди других родственниц, как доложили, что приехал Михаил Николаевич Муравьев. Вся компания ждала этого визита с нетерпением. Когда он вошел, раскланялся с нами со всеми, то хозяйка представила меня ему. И когда я ему сказала, что мы старые знакомые и что, не припомнит ли он, как я делала ему корпию во Владимире, то он сплеснул руками, сделал несколько шагов ко мне, взял обе мои руки, стал их целовать и все повторял: «Ах, боже, это Анна Петровна...» Потом, сидя на диване, беспрестанно на меня смотрел и все повторял: «Ах, боже мой, это Анна Петровна... Я много вас искал...» Он так был нежен и ласков со мной, что возбудил ко мне зависть в присутствующих. Это мне было очень грустно.

Из Владимира мы поехали к дяде моему Александру Марковичу, жившему в Тамбовской губернии. Он дал нам карету, и мы в ней поехали в Малороссию. С нами ехала бабушка Любовь Федоровна и тетушка Анна Ивановна... Эта последняя очень меня огорчила дорогою, окромсавши мне волосы по-солдатски, чтобы я не кокетничала ими. Я горько плакала. Вообще эта дорога не оставила мне приятных воспоминаний. Было холодно, верхняя одежда моя была очень легка и бедна, и я все зябла.

---

[96] Она очаровательна! (фр.).

Но как бы там ни было, а мы благополучно доехали до Лубен. Тут я прожила до замужества, уча меньшого брата и сестер, танцуя, читая, участвуя в домашних спектаклях, подобно тому, как в детстве в Бернове, где m-lle Benoit заставляла нас разыгрывать разные комедии детские, петь романсы. Это всегда делалось сюрпризом.

Батюшка продолжал быть со мною строг, и я девушкой так же его боялась, как и в детстве. Если мне случалось танцевать с кем-нибудь два раза, то он жестоко бранил маменьку, зачем она допускала это, и мне было горько, и я плакала. Ни один бал не проходил, чтобы мне батюшка не сделал сцены или на бале, или после бала. Я была в ужасе от него и не смела подумать противоречить ему даже мысленно.

В Лубнах стоял Егерский полк. Все офицеры его были моими поклонниками и даже полковой командир, старик Экельн. Дивизионным командиром дивизии, в которой был этот полк, был Керн. Он познакомился с нами и стал за мною ухаживать. Как только это заметили, то перестали меня распекать и сделались ласковы. Этот доблестный генерал так мне был противен, что я не могла говорить с ним. Имея виды на него, батюшка отказывал всем просившим у него моей руки и пришел в неописанный восторг, когда услышал, что герой ста сражений восхотел посвататься за меня и искал случая объясниться со мною. Когда об этом сказали мне, то я велела ему отвечать, что я готова выслушать его объяснение, лишь бы недолго и немного разговаривал, и что я решилась выйти за него в угождение отцу и матери, которые сильно желали этого. Передательницу генеральских желаний я спросила: «А буду я его любить, когда сделаюсь его женою?» — и она ответила: «Разумеется...» Когда нас свели, и он меня спросил: «Не противен ли я вам?» — я отвечала «нет» и убежала, а он пошел к родителям и сделался женихом. Его поселили в нашем доме. Меня заставляли почаще бывать у него в комнате. Раз я принудила себя войти к нему, когда он сидел с

другом своим, майором, у стола, что-то писал и плакал. Я спросила его, что он пишет, и он показал мне написанные им стихи:

Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах...

Я сказала: «Да, знаю. Это старая песня». А он мне ответил: «Я покажу, что она будет не «старая»... и я убежала. Он пожаловался, и меня распекали.

Батюшка преследовал всех, которые могли открыть мне глаза насчет предстоящего супружества, прогнал мою компаньонку, которая говорила мне все: несчастная! и сторожил меня, как евнух, все ублажая в пользу безобразного старого генерала... Он употреблял все меры, чтобы брак состоялся, и он действительно состоялся в 1817 году, 8-го января... Мое несчастье в супружестве не таково, чтобы возможно его описать теперь, когда я уже переживаю последние листки моего собственного романа и когда мир и всепрощение низошли в мою душу, а потому я этим и кончу свое последнее сказание...

Рассказ о событиях в Петербурге

ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ЦВЕТА ДЛЯ СООБЩЕНИЯ ЕМУ
ИЛИ ПЕРЕСЫЛКИ.
ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТСЯ

1-я тетрадь

1861 г., ноября 20-го. С.-Петербург

При вас еще начались сходки студентов, ознаменованные такими шальными распоряжениями правительственных лиц; живо помню, как вы, стоя вот здесь у печки, уговаривали одного из наших друзей из самых горяченьких, хоть и не студента. Разумные ваши слова не принесли, однако ж, пользы ему, за что я на него особенно зла. На другой день, кажется, после вашего отъезда приехал Саша (на сутки к нам) и пришел вечером с ним видеться наш Гулевич от Тютчевых, и пришел такой *нарядный*, endimanche[97], каким я его никогда еще не видывала и без смеха смотреть не могла! Новый какой-то сюртук, великолепный и модный до того, что весь отворот рубашечного рукава был виден; новый модный галстук и булавочка якорь. Несмотря на это щегольство, он был угрюм, невесел и, несмотря на то, что пришел видеться с Сашей, не остался его дожидаться, хотя и упрашивали его, уверяя, что тот скоро будет домой. Напившись чаю, во время которого сидел подле меня и раза два повторил: «Что-то завтра будет?» — на вопрос мой, что же еще может быть, он сквозь зубы сказал, как будто не о себе говоря: «*Да, сходка опять будет*!..» — и ушел, говоря, что ему нужно еще вечером дома почитать и поработать... На другой день, и на 3-й, и на 4-й мы уже его не увидели, а между тем в тот же день узнали от *очевидца* (наш factotum[98] носил ваше фортепиано в здание

---

[97] По-праздничному одетый (фр.).

[98] Слуга (лат.).

кадетского корпуса — рядом с подъездом университетским), что сходка действительно была и кончилась еще хуже первых. Начальство было предупреждено, вероятно, через шпионов из студентов же, и войско окружило их у ворот здания Университета; не знаю, сопротивлялись ли они быть арестованными, или само действие их против тех, которые пришли на лекции с матрикулами, было принято за бунт, только их били прикладами и гнали, как стадо, в крепость... На месте сражения отличился, говорят, кроме *г-на Игнатьева* Преображенский офицер *гр. Толстой*, который будто бы сам бросился на безоружных студентов и приказал своей роте действовать штыками... Возмутительно! Наш посланный все это видел и некоторых окровавленных студентов тоже, уезжавших после битвы; говорят, этот мерзостный герой (который сделан флигель-адъютантом по приезде государя!..) сам собственноручно нанес удар студенту по голове своей саблею!.. Их погнали в крепость, где продержали, однако же, несколько суток, потому будто бы, что как приехал царь и близилось время панихиды по его матушке, то их сочли нужным удалить, — и, посадив на пароходы, послали в *Кронштадт*. В крепость Александр Васильевич ездил с одним из наших родственников Измайловым для свидания с братом жены его, бароном Дальгеймом, но видеться они не были допущены, и никто из родственников не знал почему, только съестные припасы, посланные нами при записке, были приняты, и ответ доставлен от Гулевича. Потом брат к нему ездил в Кронштадт и виделся, несмотря на то что и там получен был приказ *не пускать* никого к арестантам, кроме отцов и матерей!.. Фу, как грозно и как пошло!.. Точно Николай Павлович в карикатуре. Их поместили там в госпитале и, благодаря гуманности начальника порта, ассигновали прекрасное содержание, настоящий комфорт после крепости, где их суток двое морили голодом, кроме тех, которые попали под начальство нашего приятеля Пинкорнелли, и спали они,

бедные, кучами на голом полу, пока спохватились им дать — соломы!.. A la guerre, comme à la guerre!..[99] Комедия, да и только! Жаль, что очень грустная комедия!.. Наш приятель и там не унывал, т. е. в крепости; один знакомый, проходя через двор, узнал его курчавую голову и им был узнан, чего ради прокричал ему в окно *кукареку*!.. Брат Гулевича — Вадим, добрый, кроткий юноша и, кажется, весьма нежно любящий брата своего, заболел, бедный, от тоски и тревоги; теперь в лазарете; он мне рассказывал о своем посещении брата и о том, что его и там не оставляют его юмористические выходки. «Говорили мы о разном с братом, — сказал он, — и я не заметил, что во время нашего интимного разговора незаметно подошел и стал вслушиваться жандармский офицер. «Вот видишь ли, — сказал брат, — медведь, конечно, тоже маленькая птичка, да его не посадишь в клетку, а вот *сорока* другое дело — ее можно посадить, — она держит хвост кверху!..» «Что за чушь он городит», — подумал я, всматриваясь в его невозмутимую физиономию, и только тогда понял, что он кого-то морочит, когда *офицер* быстро отшатнулся от нас». Через несколько дней он писал всем нам очень много нежного в письме брату, просил нас, меня и Софью Христиановну, писать ему, что он перечитывает наши строки, как *влюбленный гимназист*. Мы послушались, написали длинные письма, но ответа не было; может статься, и не дошло! Измайлов ездил тоже в Кронштадт, и как было позволено видеться только отцам, то он, явясь к коменданту, объявил, что он — отец! «Ваше имя и фамилия, — сказал комендант, — ваш *чин*?» — «Павел Афанасьевич Измайлов, надворный советник!» — «О! — сказал комендант, как будто удивясь большому чину молодого человека. — А сына вашего как имя?» — «Сына моего зовут *барон Юлий Петрович Дальгейм*!» Без малейшего возражения на это или замечания комендант приказал

---

[99] На войне, как на войне!.. (фр.).

выдать записку, в которой тоже значилось допустить к свиданию с Дальгеймом его отца — Измайлова! Гуманность этого коменданта, говорят, совершенно восхитила подвластных ему студентов. Он говорил Измайлову, что он все сделал от него зависящее, чтоб облегчить участь бедных арестованных. «Я их тотчас по приезде сводил в баню, дал им чистые постели и хотя толстое, но все чистое белье и стол сытный, какой они там, конечно, не имели — по 29 к. с персоны».

Воображаю Гулевича в его новом модном с иголочки сюртуке (недаром я на этот сюртук смотреть не могла равнодушно. Констанция, которая так охотно приписывает мне разные качества души, не прочь приписать мне и ясновидение: говорит, что я предчувствовала несчастие этого сюртука!): каков он был после проведенных нескольких суток в крепости на полу без соломы и даже с соломой!..

Несмотря на то что власти, т. е. *Игнатьев* и *Путятин* телеграфировали императору о студентах и своих проделках, мы все ждали, как — чего бы — как манны небесной, как пришествия мессии, приезда в Петербург государя. И — дождались!..

Первые дошедшие до нас известия как обухом по лбу нас ошеломили: «Игнатьева и Путятина царь обнимал и целовал *публично*!»

На другой же день приезда был парад, по окончании коего благодарил Преображенский полк, а графа Толстого произвел в флигель-адъютанты. При всех этих неутешительных слухах я решительно от него отказалась, возненавидя *его*, а Констанция, по обыкновению, все старалась утешить нас своим манером, что он не совсем виноват, что он опомнится, что это с ним и прежде бывало, что он и *целует* иногда, да это ничего не значит, что это такая немножко его манера (куда какая разумная манера!) поцеловать прежде, а потом и дать пинка! Между тем Кавелин и трое других профессоров подали в отставку! Между тем, как легко было *властию, богом*

нам дарованною, рассечь этот гордиев узел — всех их выпустить, хоть на поруки, а потом судить и рядить... Самое-то простое никогда на ум не всходит дуракам! Вместо того нарядили советы, суды, комитеты и т. п. — чем все это кончится, бог знает.

Городские слухи и сплетни были разные, напр.: будто Игнатьев телеграфировал царю, «что студенты бунтуют и слушать никого не хотят!». Царь отвечал: «Поступать деликатно, по-отечески»... Игнатьев опять: «Арестовано 400 человек! И ваш родитель так бы поступил...» Кажется, это выдумка; но «Se non è vero ma ben trovato»[100]. Царь: «Дурак!»

В это время в «Искре» появилась комедия «Карп Иванович и Нина Александровна», взятая из анекдотов о Николае Павловиче, très authentique[101]. Удивительно верный снимок; не знаю, как пропустили! Еще в «Искре» была картинка, где представлен куль и из-под куля вылезает *вор*, о котором говорят свидетели: «И бить его, *и гнать его*!» Не правда ли, удачное jeu de mots?[102] Теперь — об уступках свыше: хоть это вы и знаете через газеты, что Игнатьев заменен, как утверждает глас народный, весьма удачно, кн. Суворовым, который будто бы заявил свою личность, гуманно посетивши студентов в крепости сперва, потом и в Кронштадте.

(*3-й ч. пополудни*). Я была оторвана от пера визитом прощальным Николая Николаевича Тютчева. Я не очень здорова, потому эти дни не была у них, и он сказал мужу вчера (воскресенье), что он придет ко мне; шутил, по обыкновению, над силой моих молитв и рекомендовал особенно их направить на некоторые пункты... Сказал, между прочим, что Игнатьев отставлен с огромным трактаментом в *19 тысяч рублей серебром по смерть*!.. От часу не легче!.. Да, и 10 тысяч десятин

---

[100] Если и неправда, то хорошо придумано (ит.).

[101] Весьма достоверно (фр.).

[102] Игра слов (фр.).

земли в награду за *верную* службу. Я сказала, что хочу написать по малой почте письмо Александру Николаевичу, сделать ему некоторые дружеские предостережения и т. п., а между прочим сказать вот хоть бы по поводу наград Игнатьеву, что лучше бы все это дать Виноградскому и выслать его в отставку. Николай Николаевич прочитал несколько строк из писанного в этой тетрадке и сказал, что вам это будет приятно прочесть и что, когда вы возвратитесь, это уже будет de l'histoire ancienne[103], и еще сказал (то же, что и я думаю), что вы не останетесь нескольких годов и что, объехав Америку, Японию, посмотрев Австралию и проч. и проч., вы с Амура прилетите к нам на *почтовых*! Дай-то бог, и чтоб мне дожить до этого!.. Привезите мне духов из Англии непременно, иголок и ножницы. Послушайте: вы счастливый человек, однако ж посмотрите, как все мы вас любим. Одно то чего стоит, что Николай Николаевич ни о ком в мире не говорит с такою нежностью. Знаете, что я вам скажу еще: нет сомнения, что мы все, привыкшие вас видеть и слышать, скучаем за вами, но я почти рада, что *вас теперь* здесь нет!.. Нам тяжело, нам нестерпимо *смотреть бездейственно* на все эти каверзные действия. Каково же вам было бы? Вот-то головушка ваша трещала бы от досады!.. Однако долго тоже вам не следует оставаться!.. Да, так вы знаете, что Тютчевы едут к родне с Александрой Николаевной и, вероятно, все рождественские праздники проведут там же или в Москве. Весьма разумно!

Муравьев объявил, что 15 января едет за границу... Гр. Стейнбок уехал, а свадьба, кажется, расстроилась!.. До завтра о свадьбе и размолвке.

1861 г. С.-Петербург 22-е ноября, утро

О свадьбе гр. Стейнбока тоже без вас было объявлено; это известие нас отчего-то неприятно поразило... Пожилой че-

---

[103] Далеким прошлым (фр.).

ловек, когда женится, редко бывает удачно, так мне кажется, и хотя с его стороны было увлечение, а не расчет, конечно, но увлечение, вероятно, чисто физическое и слишком быстрое, чтоб предположить привязанность, основанную на чем-нибудь прочнее, кроме наружной красоты; с ее же стороны можно наверное было предполагать расчет. Какой?.. Это довольно длинный и сложный вопрос. Вследствие всего этого мы все, любящие, знающие его и зависящие от него, озаботились этим браком и пожелали узнать, *что такое она*! Стоустая молва не замедлила донести подробно, что она вдова с 4-мя детьми, еще очень молодая, лет 30, и весьма, весьма богатая!.. Такая богатая, что будь я на ее месте, не пожелала бы никакого графа, ни князя даже присоединить к этому богатству, а пользовалась бы им с любовию и желанием — поскорее его уничтожить...

К этим сведениям присоединились другие, весьма мрачного содержания: что она известна в обществе по весьма скандальной истории с мужем!.. А именно, что муж — отъявленный негодяй, это правда, но что один господин, подозреваемый в коротком знакомстве с нею, прислал ему (мужу) по почте *адскую машину* и что муж, предчувствуя это, поехал на почту с полицейским, который и был убит при вскрытии посылки... Дело это хранится в архивах. Оная госпожа пробыла 6 месяцев в *остроге*. Муж же ее оправдывал ее перед судом; все-таки это пятно тяготеет над нею и ее детьми. Не знаю, известно ли было это гр. Стейнбоку, только то верно, что он, объявив своим друзьям и сослуживцам о своем браке, намеревался ехать к ней в Москву, где она проживает. Вдруг заболел, заболел опасно, — слухи носились, что у него разыгралось нечто вроде аневризма в сердце, почему и полагают, что брак невозможен!.. Граф уехал за границу на 6 недель, получив 10 т. сер. на излечение, а квартиру, нанятую за 3 тысячи для свадьбы, сдал совсем с убытком... Кажется, все кончено! Тютчевы видели ее акварельный портрет; она очень

хороша, и симпатичная, грустная физиономия, чрезвычайно привлекательная. Грустно, это все и *нехорошо*. Слухи носились, будто царь причиной размолвки, будто он сказал Адлербергу, когда тот просился ехать на свадьбу, что он знает эту гадкую историю и что неужели гр. Стейнбок ничего не нашел лучшего? Будто граф и заболел после такого известия, переданного ему Адлербергом. Похоже на правду, но лучше, если б не была правда! Телесницкий протестует. Он говорит, что граф, если бы услышал что-нибудь подобное, то вышел бы в отставку и все-таки бы женился. Она, говорят, приехала сюда его навестить, когда он заболел так сильно, но неизвестно, что между ними произошло при свидании.

Вчера утром Констанция и Саша проводили Николая Николаевича и его семью на железную дорогу; Александр Васильевич тоже провожал; оттуда в карете за мною заехали. Третьего дня вечером муж ходил проститься с Тютчевыми, а у меня сидели 2 мои институтки и Измайлов пришел. Я ему сообщила свое удивление, что этому мерзавцу Игнатьеву дали 19 т. сер.! «*Двадцать две*!» — сказал он. От часу не легче! Как тут не лопаться с досады каждую минуту? Воображаю, каково вам, если до вас доходит что-нибудь подобное? Он еще рассказывал, что царь приказал арестовать одного студента в толпе во время похорон Герштенцвейга; однако же вчера мне Констанция сказывала, что его скоро выпустили. История о студентах молчит!..

Измайлов говорил мне еще, что он на днях был в довольно большом обществе, где случился старичок-монархист, горячившийся крепко отстаивать свое отсталое мнение о Муравьеве и студентах. Все остальное общество протестовало, — кто громко, кто молчаливо. «Я тоже молчал все время, — сказал Измайлов. — Тогда он прямо обратился ко мне, вызывая ответ решительный на его доводы: ну, скажите мне, что бы вы сделали, как бы вы поступили, будь у вас сын в это время в университете?..»

Измайлов: «Я и предвидел это затруднение, почему и обзавелся *дочерью* только».

Слухи носились перед отъездом Тютчева, что Муравьев будет совершенно стушеван. Он и сам грустно прощался и говорил Николай Николаевичу, что едет непременно за границу 15-го декабря, в Ниццу. «Там ведь тепло уже в феврале; не правда ли?» Николай Николаевич сказал, что *разумеется*!.. Хотя бывает, и очень часто, в комнатах весьма холодно еще там в это время. Вчера же на железной дороге Шварц сообщил, что Муравьев отстоял-таки себе свои пенаты: остался председателем Уделов таки!.. и Межевого корпуса. Такой жадный старик. Александра Бальтазаровна не может этого слышать равнодушно. Как ему было не стыдно и не совестно *не отказаться от всего*? Шутила она: мы к квартирам привыкаем, да неохотно расстаемся, а оставить *теплый даровой дворец*!! Теперь, пожалуй, чего доброго, и за границу не поедет!

Вчера к Тютчевым приходил один господин, очень знакомый у Ковалевских и которого он очень уважает. Он говорил, что на место Кавелина уже назначен профессор какой-то; еще говорил, что он был у Ковалевского, что тот, при всей сдержанности своей и осторожности, руки к небу подымает от истории со студентами и говорит, что если б он мог предвидеть, то не вышел бы в отставку хотя бы его били, гнали, выгоняли! что богу ответит за все это Строганов.

25-е ноября, утро

А не правда ли, что *мой-то* царь Александр I был лучше ваших, несмотря на то, что 60 лет назад царствовал?.. Измайлов не хотел согласиться, опираясь на последние *плохие* годы!.. Я ему сказала, что он ведь по слухам и по преданиям судит, что он и при Николае I служил еще?

«Служил шесть месяцев и выгнан был от службы!»

Я: «Вот как! За что же?»

Он: «Да я дал щелчка по носу экзекутору и казначею при московском губернаторе Капнисте, да крепко очень, так что кровь пошла».

Я: «Жаль, что не Александру Николаевичу».

Он: «Будь он на ту пору казначеем и экзекутором, и ему бы попало».

Муж мне сегодня поутру сказал, что Телесницкий читал в *Колоколе* о студентах. Великолепно. Дорого бы дала, чтобы прочесть...

Говорят, ваш Муравьев доволен и счастлив, как медный грош, что удалось отстоять Уделы и Межевой корпус. С голоду не умрет! Зеленый пока что *министром государственных преимуществ*. Кстати, о Зеленом, он ведь из моряков. Про него рассказывают, что во время доклада у царя царь спросил его, что он думает о *Путятине*. Будто бы Зеленый сказал, указывая на лоб свой: «Мы его всегда считали несостоятельным по этой части», — и будто бы, выходя от царя, он встретил и Путятина, который ему сообщил, что определение его *министром просвещения* уже состоялось! Бедная, бедная Россия! Упрямая Констанция не хочет-таки изгнать из своего сердца этого майора в штатском платье. Говорят, общество так сочувствует студентам, что не только они не нуждаются в чем-либо, но завалены роскошнейшими лакомствами. В крепости была маленькая демонстрация вот какого рода: так как туда ездят много родных, то начальство пожелало, чтобы для избежания тесноты чередовались бы родные, т. е. те, которые приезжали в четверг, не приезжали бы в воскресенье и vice versa[104]. Студенты узнали, что после этого распоряжения крепостное начальство сделало некоторые исключения в пользу аристократов или богатых — не знаю. Только студенты отказались выходить к своим, узнавши об этом, и объявили родным, что не желают их видеть таким образом... Пора

[104] Наоборот (лат.).

учить подлецов!.. Молодцы студенты! Всего приятнее, что между ними есть аристократы, и они, хоть нехотя, научатся уму-разуму!

Вчера, пятница 24 ноября, мы провели день у Александры Бальтазаровны; нам хотелось праздновать этот день, так как и Тютчевы его праздновали там, в Знаменском, куда они уже приехали. От них получили из Твери коротенькую записку (в приготовленном здесь заранее конверте и надписанном Констанциею!), что дорога хороша, они здоровы, реки безопасны и что они имели удовольствие встретить в Твери выехавших к ним навстречу Маслова и Сергея Николаевича Тютчева, чтобы вместе отправиться в Знаменское. Вчера Констанция мне рассказывала, что видела вас во сне очень явственно, что вы к ним приехали, взошли и прямо поцеловали Сашу, потом и к ней подошли с таким же точно приветом, чему она, как водится (даже во сне), удивилась и выразила вам свое удивление!.. Что нашла в вас перемену, т. е. в вашей коже, что вы загорели; она мне говорила, что всегда удивлялась вашей неспособности загорать. Это, однако же, не доказывает крепкого сложения: очень здоровые всегда загорают легко.

О студентах и их освобождении ни словечка!.. Вчера перед нашим уходом от Тютчевых пришел туда г-н Ржевский. Не знаю, знаком ли он вам, а если знаком, то и вы, верно, так же недолюбливаете его, как Николай Николаевич и они все! Он мне сразу стал антипатичен и по *физиономии* (это мой конек, вы знаете?), и по фразам своим... Мне еще не удавалось слышать такого обвинения студентам (в нашем кружке им всем сердцем сочувствуют) и тем, которые не *старались* своим влиянием на них удержать от *этого*. Весьма хвалил Строганова, при котором он 6 лет служил, и говорил, что его весьма удивляет, если он так изменился или ему приписывают все эти *распоряжения*. Александра Бальтазаровна говорила ему с таким теплым чувством и с таким участием к судьбам этого юношества, что мне весело ее было слушать, и слезы навертывались на глазах. В это время

муж позвал меня, было уже 11 часов; и Констанция мне сказала, когда я одевалась, что она его не любит... Вы не поверите, как мне он противен казался! А в светских-то гостиных, может быть, и многие так говорят. Вчера утром Констанция делала визиты и, между прочим, навестила Анненкову, которая простудилась. Ее там упрашивали и посидеть подольше, и даже остаться, но она сказала, что спешит еще сделать несколько визитов для того, что я у них буду обедать. Анненков тогда заговорил обо мне и о нас с Александром Васильевичем, и о нашей согласной супружеской жизни. «Вот так надо жить», — сказал Анненков, обращаясь к жене. А Констанция сказала ей, что вот она когда-нибудь нас может у них встретить... Тогда Анненков сказал, что «можно и им ко мне поехать!». Последнему я вовсе не буду рада, потому что церемонные визиты давно оставила. J'ai rompu avec le monde depuis bien longtemps[105], да, кажется, никогда и не жила с ним в ладу, слава богу! Что же касается до наших матримониальных чувств и способностей, то мы можем сказать, как грациозной памяти Александр I: Je ne suis qu'un accident heureux!»[106]

29-е ноября, утро

Здравствуй, мой сердечный. Каково вам?.. Меня на днях радостно потревожил Саша мой: в то самое время, как меня уверяли, что писем нет, потому что нет никаких сообщений и даже телеграф испорчен, он вошел во время чая нашего с кренделями. Отчего это радостное волнение сильнее горя?.. Ну, это меня и расстроило. Вчера, вторник, мы провели день у Александры Бальтазаровны и Констанции; я здоровалась с вашим портретом и беседовала с милым Колбасиным, которого очень люблю. За обедом он нам рассказывал очень по-

[105] Я уже давно порвала со светом (фр.).
[106] Я лишь счастливое исключение! (фр.)

дробно разговор со старым извозчиком своим. Хотелось бы мне вам здесь его передать его словами, т. е. словами извозчика. Отменно разумная личность. Странная вещь, мне часто случалось разговаривать с извозчиками весьма разумными здесь, чему я всегда удивлялась: русский мужик герой не моего романа! Вот малоросс — это другое дело. Вечером Колбасин нам прочел очень милую повесть, которую я им привезла, в вашей «Основе»: «*Украинские незабудки*». Премилый рассказ, и, кажется, все портреты из нашей с вами родины — Черниговской губернии, Борзенского уезда. Там один господин проводит большую часть дня в своей детской — так он называет комнату или кладовую, где у него сохраняются бочонки с *наливками*.

Да, так извозчик рассказывал ему вот что: как он имел несчастье попасть к обер-полицмейстеру Паткулю.

«Везу я барина; он встал, расплатился, пошел дальше, а я оглянулся на пролетку — *бумагу* оставил!.. Я ему кричать: «Вернись, барин, бумаги забыл», он — и след простыл! Так я с бумагами и домой вернулся, да знаете, как я грамотный, у меня и две девки есть, что в школу ходят, так я и прочитал бумаги-то!.. Ужасти, что там было! «*Новое колено поколенное*», — так оно называлось! И что сто тысяч народу надо уничтожить и проч. Все такое нехорошее про царя, а уж если что против царя, так и против нас, значит. Я и припрятал бумагу-то подальше, в шкап, где посуда, — под чашку. Да вот, ехал вот так, как с вашим благородием, с барыней; я и рассказал ей такой случай, а она ехала на железную дорогу... Да и спросила меня, где я живу, и номер квартиры спросила. Я и сказал ей, да и невдогад, зачем ей это хотелось знать. А ночью в тот же день полиция ко мне приехала. Бедная жена моя так испугалась. Стали везде искать; а я еще им говорю, будто шутя, чтоб не заметили, что мне страшно: «Ищите, ваше благородие, — ничего, кроме тараканов, не найдете».

2-я тетрадь

29-го ноября, вечер

Известие о студентах

Софья Христиановна пишет: «Говорят, их разделили на три категории (дело их решено). Первые шесть человек подвергаются *наказанию*... 45 ссылаются в отдаленные губернии, а остальные *освобождаются*!..» Сколько комментарий можно бы сделать на это последнее слово: «*освобождаются*»! Значит, признаются совершенно невинными? Да? А за то, что их били, и за то, что они и в голоде, и в холоде сидели, лишенные свободы около 2-х месяцев, — за это что?

(*Продолжение рассказа извозчика*). «Ну, вот совсем было ушли, да вспомнили шкапчик с посудой, заглянули туда и вытащили бумагу, ну и повезли меня к обер-полицмейстеру. Тот так и вскрикнул на меня: «Как ты смеешь развозить такие бумаги» и проч. Я, так и так, ему докладываю, что я, дескать, не развожу, что у меня на дрожках оставили и что я еще все искал случая, как бы самому об этом царю донесть. Ну, и отпустил, только наказывал строго, чтоб я прямо так и вез в часть, если еще такой седок попадется!»

8-е декабря 1861 г., утро

Гулевич вернулся вчера! Я радостно обняла его, и все его друзья тоже. Боже, боже, что он порассказал нам! Мы много знали, о многом слышали от почти очевидцев, но что он рассказал нам, превосходит все слышанное нами. Думала ли я, что доживу до такой безобразной обстановки?.. Я ненавижу *его* и все это!.. Горе тому, кто не найдет в себе способность ненавидеть!..

Вот как это происходило: Гулевич шел мимо Университета, не имея никакого положительного намерения. Подошел к толпе, чтобы спросить, что там такое? — Их будочники окружили. Так как он и многие другие были в партикулярном

платье и заметно было, что они только что подошли, то им предложили (начальство, полиция) отойти, выйти из цепи, удалиться. «Я бы мог выйти, — сказал он, — но считал это неловким, и потому еще, что, выйди я, за мною вышло бы и несколько других, и было бы нехорошо, неприлично!.. Я остался...» Тут жандармы с лошадьми и *преображенцы* со штыками вышли на сцену кровавым пятном на русскую честь и правительство!.. «Я не потерялся, все помню, — сказал Гулевич, — и штыки блестящие, обращенные на нас, безоружных (потому что мы все, у кого были трости, и их бросили, повинуясь громкому голосу одного из нас бросить трости и остаться совершенно беззащитными), лошади жандармские, теснящие нас, лезшие на дыбы прямо на нас; одну минуту потом меня так стиснули, что мне сделалось дурно, и я бы упал, если б меня двое товарищей не поддержали... Потом отвели нас во двор, где заперли и переписали наши имена. Потом провели между солдатами, жандармами и будочниками, так что на каждого из нас было по трое вооруженных людей!..»

Кровавая комедия! Человек шесть было ранено штыками и прикладами: *Лебедев,* которого солдат ударил так сильно прикладом по голове, что тот упал и вскрикнул: «За что ты бьешь безоружного?» Тот в ответ еще раз его ударил, уже лежачего, так что он некоторое время находился в опасности помешаться: от раны на голове потрясен мозг! Их гнали в крепость, подгоняя отсталых прикладами. В крепости же они были 5 дней без постелей и при самой гнусной пище. Одна женщина, жена кого-то из живущих в крепости чиновников, раздавала им хлеб и все, что только нашлось у нее съестного, — бедной, измученной голодом толпе!.. Когда их повезли в Кронштадт (они не знали еще куда), то один из пароходов зацепился за плашкоут моста и чуть было не погиб; в это время на берегу стояли и смотрели Михаил и Николай Николаевичи... Холод был очень силен (12-е октября), но капитан того парохода, где ехал Гулевич, был добр и милосерд; он всех

пускал в каюту, где Гулевич улегся у камина и проспал до Кронштадта. Другой же капитан (надо будет узнать его имя) не позволял озябшим входить в каюту, отчего один, слабый еще после недавнего тифа, простудился насмерть — он получил чахотку, от которой теперь умирает. А знаете ли, что? У нас есть пытка!.. Когда и это услышала от одной дамы в 1-й раз, я думала, что это сплетня, выдумка, клевета!.. Увы! Это факт. Это то, что, описывают, делали будто бы с маленьким дофином во время терроризма... Приготовляемого к допросу несколько дней томят бессонницей, — лишь только он уснет, его будят, стучат; потом, когда он достаточно раздражен и ослаблен такой процедурой, его ведут изнеможенного к допросу... Так было, вероятно, с Михайловым!.. Он уже осужден сенатом на 12 лет в каторжную работу — царем милостиво уменьшен срок наполовину!.. Студентам объявили милостивое избавление от тюрьмы 6 декабря — день тезоименитства наследника!.. Как мило!.. Он пресмешные, преуморительные эпизоды рассказывал, да я сегодня в желчном и грустном настроении; после расскажу. Tout cela est de domaine de l'histoire[107].

Где-то вы теперь, наш хороший, наш милый Цвет? Если бы вы знали, как мы вас любим!

А Гулевич? Он хорошая, честная, разумная натура. Вообразите — они разделены на 4 категории, да так смешно, так смутно, так бестолково, что я уж и рассказать не умею. Например, самое слабое наказание (ссылка в дальние губернии) и самое сильное — то же. Потом, или ссылка, или дозволение остаться, если есть родные поручители. Гулевичу назначено выехать чрез 2 недели и пока пребывать под строжайшим надзором полиции, потому он ни за что не хотел пока у нас остаться. Вчера Софья Христиановна прибежала к нам и провела у нас вечер; сегодня нас зовет обедать и Гулевича.

---

[107] Все это из области истории (фр.).

9-е декабря 861 г., С.-Петербург

Вообразите мое, наше удивление. Констанция вчера была у меня и сказала *новость*: что «Богатырь» и Попов возвращаются!..

Теперь такие новости распускаются в Петербурге, что не сразу всякой поверишь; но я таки задумалась над этой... и — сообщила ее у Даневских. На что Пий Николаевич Даневский сказал: «Это значит, денег нет на экспедицию!» — и прибавил еще: «Передержано сто миллионов!» Ужасно!.. Что же тогда вы будете делать? Ясно, что если предполагаемая экспедиция не состоится, то и вы должны вернуться! Радоваться ли этому или нет? А вы молчите, и ни словечка от вас не получено вслед за первым грустным вашим письмом.

Вчера ждали Константина Николаевича. Почему вчера 8-го, а не 5-го или 6-го, как предполагали, — это неизвестно *пока*; не знаю почему, я интересуюсь его приездом... Я думаю, потому, что тут есть хоть *что-нибудь*; все остальное так бесцветно, пошло!..

Вот еще один рассказ извозчичий, очень занимательный, идея почти та же. Один юноша желал услышать, как они понимают студенческую историю... Извозчик был хмелен маленько, следовательно, разговаривал, а in vino veritas[108]; молодой человек сказал ему, что приехал недавно издалека и желал бы знать, что тут такое была со студентами за *история*. «А вот я вам расскажу, барин; все как *есть* видел собственными глазами... Они, вот видишь *ли*, все такие умные да ученые нынче, уж без книжек ни-ни. Вот они и хотят все учиться, а им говорят: «Подавай 50 целкачей, так будешь учиться, а не то убирайся». Ну, а иные есть такие, что разбеднеющие... Ну, они и пришли раз в Ниверситет. Хвать, а Ниверситет заперт! Как быть? Что делать? Они к набольшему их, к *генералу-то*, что в Колокольной улице, — так все гурьбой

[108] Истина в вине (лат.).

и пошли спросить, что, мол, это значит, что заперт Ниверситет! Ну, генерал им сказал: «Подите, отопрут!» Они и пошли так тихо, скромно и все *книжки читают*, так по Невскому проспекту идут смирно и все читают! Пришли к Ниверситету-то, а там *войско* всякое такое и жандары... их и накрыли, моих голубчиков! Больно жалко их, бедненьких. Не хорошо только, что, говорят, между ними будто есть и такие, что замышляли что-то недоброе против царя. Ну, это неладно! Царь добрый, он нам волюшку дал. *Его не замай*».

Вчера у Даневских, где мы обедали с Гулевичем, он нам рассказывал тьму-тьмущую вещей, одна другой раздирательнее, возмутительнее; между прочим, что когда их гнали в крепость, то отстававших от слабости или болезни подгоняли солдаты Преображенские прикладами; один из них едва тащился на костылях... В Кронштадте же, где нам говорили, что их так хорошо содержат, им давали чай (из пожертвованного им) в оловянных кружках, от которых постоянно тошнило, потому что грязные и после больных... Однажды у них по всем камерам сделалась тошнота и корчи. Это событие навело на них всех страшное уныние. Кроме того, от спертого воздуха и прочих условий тюремной жизни развился тиф. Я сама, узнавши это, чуть не написала царю послание или Александре Сергеевне Долгоруковой. Но, к счастью, меня уведомили, что дело решено... Я попрошу Гулевича, чтоб он тут у меня вписал несколько строк об этом абдеритском[109] решении и распределении категорий!.. Ай да мы! Вот тебе прогресс 19-го века!.. Смешно и грустно, грустно до слез, до кровавых слез!

Допрос Красильникову:

— Были ли вы под судом или под следствием?

— Был.

— Отчего же вы здесь?

— Взят на поруки.

---

[109] Абдеристское решение — нелепое, дурацкое решение.

— Где же ваш поручитель?

Во второй камере второго *каземата*.

Однажды им предложили, не желает ли кто из них в церковь православную. Они все пожелали. Комендант чрезвычайно обрадовался, подумав, что все они православные. На 2-е воскресенье комендант предложил: если есть католики между ними, то могут идти в католический костел, все пошли опять! Потом, когда они пожелали в лютеранскую церковь, их уж не пустили, побоявшись, что они и в мечеть, и в синагогу, пожалуй, попросятся!

При первом же допросе вместе, — говорит Гулевич, — Андреевский сказал им: «Ведь вы не были на сходке, ведь вы не нарочно туда пришли?»... Это добродушное предостережение заставило их всех засвидетельствовать, что они туда попали нечаянно... Впрочем, их ответы не имели никаких последствий, на них не обращалось никакого *внимания*... Как это логично, справедливо и честно... Например: человек говорит, что он давным-давно *кончил* курс Университета, — его записывают студентом. — Во всех их действиях явно высказывается желание заподозрить, сделать виноватым правого! Гулевич сказал, что он три года слушал курс в Харьковском университете, потом жил в Москве на кондиции, теперь в Петербурге ходил вольнослушающим, — его записали харьковским студентом, как он ни протестовал! Вследствие чего его, захваченного *нечаянно*, *мимоходом*, партикулярного человека, присудили, после почти 2-х месяцев тюремного заключения, отдать под строжайший надсмотр полиции на 2 недели, потом выслать на *родину* (на родину, где больной старой матери нечего есть, где он ее содержал своими уроками в Петербурге!) или оставить здесь, если найдутся родные поручители... Любо-дорого слушать такие дела и умиляться над ними! Мы с Софьей Христиановной кипим; Констанция тоже, несмотря на свое прежнее предубеждение насчет его величества. Она и теперь говорит: «Будь *он* здесь, ничего бы

подобного не случилось!» Что касается меня, я уже *ему* совершенно не верю!

У меня всегда вертится один характеристический факт об нем — я при случае его рассказываю; и теперь расскажу, если не рассказала еще. После 8-летнего заключения Михаила Бакунина в Шлиссельбургской крепости мать, старуха лет около 70, приехала сюда (отец 90-летний умер, не дождавшись); ей сказали, чтобы она попробовала еще одно средство: встретясь с царем в Петергофском саду, попросить лично царя о помиловании преступного сына. Она, бедная, это и исполнила. Подошла к нему с видом умоляющим и сказала, на вопрос *его, кто* она, что она мать кающегося сына и проч. и проч. Он остановился, вспомнил, *о ком* речь, скорчил, вероятно, *николаевскую* гримасу и сказал: «*Перестаньте заблуждаться, ваш сын никогда не может быть прощен*!» И только. Она как стояла, так и повалилась, как сноп, на стоящую тут скамейку. Удивляюсь, как ее, бедную, толстую, тучную женщину, не пристукнуло тут же! Он постоял немножко, посмотрел на нее и — *пошел дальше*! А вы скажете: «Да как же это? Да ведь он прощен, то есть сослан». Разумеется, что после Шлиссельбургской крепости позволение жить и служить даже в Омске или Томске, не знаю, — милость; да не в том сила, а вот в чем, что через несколько месяцев все это последующее совершилось; не знаю, *как* и *откуда* зашли, чтоб это устроить... Матери-то, надеющейся на милосердие, каково должны были прозвучать адские слова: «Lasciate ogni speranza»[110] Дантовы. А вот *он* теперь в Лондоне, говорят. Желаю ему от всего сердца иметь возможность отблагодарить за прочувствованное его матерью в эти минуты!.. Вчера, 14 декабря, прочитала в газетах, что в 8 ч. утра на площади близ Мытнинского рынка будет объявлено решение суда бедному *Михайлову* по приговору на 12 лет в каторжные работы, по царскому велению на

[110] Оставь всякую надежду (ит.).

6 лет. Это прочитала и 10 ч. утра в газете, что в 8 ч. это совершится. Как ловко!.. Ожидали демонстрации на 14 декабря от студентов, которые собирались служить панихиды по декабристам, но полиция уже знала и послала запрещение служить панихиды по Кондратии, Сергее и проч. и проч.; и с той и с другой стороны глупо.

Нам сказали, что Попов возвратится, мы и думали: «Неужели и Цвет возвратится?» Вдруг он третьего дня явился с визитом к Александре Бальтазаровне и Констанции Петровне и — ни гугу о Цвете: ни письма, ни вести, прямо ничего!.. Нам стало очень грустно; а мы бы могли вот эти подробности переслать, все же лучше, чем «посылаю вам поклон, мы здоровы, чего и вам желаем» и проч. и проч.

Вчера, 14-го декабря, отправлена прелестная мантилья и зеленая бархатная шляпка с пером вашей матушке. Шляпа стоит (изумительно дешево по времени) 11 р.; мантилья 26 р. Пересылка три рубля. Все это устроила Констанция Петровна; я очень довольна, что так успешно. День ото дня ее больше люблю, а меня она так любит, что мне даже совестно и за нее, и за себя. Гулевич у нас живет и кипятится страшно... Сегодня Суворов ему позволил отдаться на поруки Даневскому. Я жду там романа (inter nos)[111], не знаю только, в каком роде. Прочитайте (кстати о романах) новую современную повесть, прелестную, хотя юную совершенно и первый опыт: наблюдательности бездна. Она называется «Молотов», в «Современнике». Фамилия подписавшегося *Помяловский* и — вообразите — семинарист!..

18-е декабря, утро

Вчера, воскресенье, у Тютчевых были; слышали, во 1-х, *вести* свежие о вас!.. Какой-то юный господин, видевший вас почасту, — их привез и *письмо*... Письмо, конечно, отправлено

---

[111] Между нами (лат.).

нераспечатанное Николаю Николаевичу в деревню. Я такой *веры*, что этого бы не сделала по 99-ти причинам; во 1-х, потому (если по почте), что письмо может или пропасть, или попасть не туда, куда нужно, а потом и не узнают, что в нем находилось весьма интересное; конечно, если по почте, мы ничего от вас *интересного* не получали! Потом вечером пришел Pinto и рассказал много *приятных* новостей: что Путятин уничтожается и проч. и проч. (на его место, кажется, Головин), и потом кое-что о новых постановлениях университетских, довольно утешительных, — Казанский уже открыт. Суворов своей гуманностью и благородным образом действий производит фурор! Дай бог ему здоровья! Между прочим, один из *красных* выразил такую мысль: что это страшно, какую он приобретает популярность!.. Понимаете?.. Вот мазурики-то неугомонные!

Переписка

Письма
А. П. Керн к Пушкину и Пушкина к А. П. Керн

А. Г. Родзянко и А. П. Керн — Пушкину

10 мая 1825 г. Лубны

<А. Г. Родзянко>

Лубны 10-го мая 1825-го года
пред глазами Анны Петровны

Виноват, сто раз виноват перед тобою, любезный и дорогой мой Александр Сергеевич, не отвечая три месяца на твое неожиданное и приятнейшее письмо, излагать причины моего молчания и не нужно, и излишнее, лень моя главною тому причиною, и ты знаешь, что она никогда не переменится, хотя Анна Петровна ужасно как моет за это выражение мою грешную головушку. Но, невзирая на твое хорошее мнение о моих различных способностях, я становлюсь в тупик в некоторых вещах и, во-первых, в ответе к тебе. Но сделай милость, не давай воли своему воображению и не делай общею моей неодолимой лени, скромность моя и молчание в некоторых случаях могут быть вместе с обвинителями и защитниками ее; я тебе похвалюсь, что благодаря этой же лени я постояннее всех Амадисов[1] и польских и русских, итак, одна трудность перемены и переноски своей привязанности составляет мою добродетель, *следовательно*, говорит Анна Петровна, *немного стоит добродетель ваша*! А она соблюдает молчание, — <*Керн*:> Молчание знак согласья. — <*Родзянко*:> И справедливо. Скажи, пожалуй, что вздумалось тебе так клепать на меня, за какие проказы? — за какие шалости? — но довольно, пора говорить о литературе с тобою, нашим Корифеем. — <*Керн*:>

Ей-богу, *он* ничего не хочет и не намерен вам сказать! насилу упросила! — Если б вы знали, чего мне это стоило! — <*Родзянко*:> Самой безделки; придвинуть стул, дать перо и бумагу и сказать: пишите. — <*Керн*:> Да спросите, сколько раз повторить это должно было! — <*Родзянко*:> Repetitia est mater studiorum[112]. Зачем не во всем требуют уроков, а еще более повторений, жалуюсь тебе, как новому Оберону, отсутствующий, ты имеешь гораздо более влияния на ее, нежели я со всем моим присутствием, письмо твое меня гораздо более поддерживает, нежели все мое красноречие. — <*Керн*:> Je vous proteste qu'il n'est pas dans mes fors![113] — <*Родзянко*:> А чья вина? — вот теперь вздумала мириться с Ермолаем Федоровичем, снова пришло остывшее давно желание иметь законных детей, и я пропал, тогда можно было извиниться молодостию и неопытностию, а теперь чем? — ради бога, будь посредником! — <*Керн*:> Ей-богу, я этих строк не читала! — <*Родзянко*:> Но заставила их прочесть себе 10 раз. — <*Керн*:> Право, не 10. — <*Родзянко*:> А 9 — еще солгал. Пусть так, тем-то Анна Петровна и очаровательнее, что, со всем умом и чувствительностью [светской] образованной женщины, она изобилует такими детскими хитростями — но прощай, люблю тебя, и удивляюсь твоему гению, и восклицаю:

О, Пушкин, мот и расточитель
Даров поэзии святой
И молодежи удалой
Гиерофант и просветитель,
Любезный женщинам творец,
Певец [бр<одяг>] разбойников, Цыганов,
Безумцев, рыцарей, Русланов,
Скажи, чего ты не певец.

---

112 Повторение — мать учения *(лат.)*.
113 Уверяю вас, что он не в плену у меня! *(фр.)*.

Моя поэма *Чупка* скончалась на тех отрывках, что я тебе читал, а две новые сатиры пошлю вскорости напечатать.

Аркадий Родзянко.

<А. П. Керн>

Вчера *он был вдохновлен мною*! И написал — Сатиру — на меня. Если позволите, я вам ее сообщу.

Стихи насчет известного *примирения*.

Соч. Аркадий Родзянко сию минуту.

«Поверьте, толки все рассудка
Была одна дурная шутка.
Хвостов <в> лирических певцах;
Вы не *притворно* рассердились,
Со мной нарочно согласились,
И кто, кто? — я же в дураках.

———

И дельно; в век наш греховодный
Я вздумал нравственность читать:
И совершенство посевать
В душе к небесному холодной;
Что ж мне за все советы? — Ах!
Жена, муж, оба с мировою
Смеются под нос надо мною:
«Прощайте, будьте в дураках!»

NB:

Эти стихи сочинены после благоразумнейших дружеских советов, и это было его желание, чтоб я их здесь переписала.

Пушкин — А. П. Керн

25 июля 1825 г. Михайловское

Я имел слабость попросить у вас разрешения вам писать, а вы — легкомыслие или кокетство позволить мне это.

Переписка ни к чему не ведет, я знаю; но у меня нет сил противиться желанию получить хоть словечко, написанное вашей хорошенькой ручкой.

Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у Олениных. Лучшее, что я могу сделать в моей печальной деревенской глуши, — это стараться не думать больше о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости ко мне, вы тоже должны были бы пожелать мне этого, — но ветреность всегда жестока, и все вы, кружа головы направо и налево, радуетесь, видя, что есть душа, страждущая в вашу честь и славу.

Прощайте, божественная; я бешусь, и я у ваших ног. Тысячу нежностей *Ермолаю Федоровичу* и поклон г-ну Вульфу.

25 июля

Снова берусь за перо, ибо умираю с тоски и могу думать только о вас. Надеюсь, вы прочтете это письмо тайком — спрячете *ли* вы его у себя на груди? Ответите *ли* мне длинным посланием? Пишите мне обо всем, что придет вам в голову, — заклинаю вас. Если вы опасаетесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, измените почерк, подпишитесь вымышленным именем, — сердце мое сумеет вас угадать. Если выражения ваши будут столь же нежны, как ваши взгляды, — увы! — я постараюсь поверить им или же обмануть себя, что одно и то же. — Знаете *ли* вы, что, перечтя эти строки, я стыжусь их сентиментального тона — что скажет *Анна Николаевна*? *Ах вы, чудотворка или чудотворица*!

Знаете что? Пишите мне и так, и этак, — это очень мило[114].

---

[114] Последние несколько слов написаны поперек письма в разных направлениях.

Пушкин — А. П. Керн

13 и 14 августа 1825 г. Михайловское

Перечитываю ваше письмо вдоль и поперек и говорю: *милая*! *прелесть*! божественная! ...а потом: *ах, мерзкая*! — Простите, прекрасная и нежная, но это так. Нет никакого сомнения в том, что вы божественны, но иногда вам не хватает здравого смысла; еще раз простите и утешьтесь, потому что от этого вы еще прелестнее. Напр., что вы хотите сказать, говоря о печатке, которая должна для вас *подходить и вам нравиться* (счастливая печатка!) и значение которой вы просите меня разъяснить? Если тут нет какого-нибудь скрытого смысла, то я не понимаю, чего вы желаете. Или вы хотите, чтобы я придумал для вас девиз? Это было бы совсем в духе Нетти. Полно, сохраните ваш прежний девиз: «*не скоро, а здорово*», лишь бы это не было девизом вашего приезда в Тригорское — а теперь поговорим о другом. Вы уверяете, что я не знаю вашего характера. А какое мне до него дело? Очень он мне нужен — разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Главное — это глаза, зубы, ручки и ножки — (я прибавил бы еще — сердце, но ваша кузина очень уж затаскала это слово). Вы говорите, что вас легко узнать; вы хотели сказать — полюбить вас? Вполне с вами согласен и даже сам служу тому доказательством: я вел себя с вами, как четырнадцатилетний мальчик, — это возмутительно, но с тех пор, как я вас больше не вижу, я постепенно возвращаю себе утраченное превосходство и пользуюсь этим, чтобы побранить вас. Если мы когда-нибудь снова увидимся, обещайте мне... Нет, не хочу ваших обещаний: к тому же письмо — нечто столь холодное, в просьбе, передаваемой по почте, нет ни силы, ни взволнованности, а в отказе — ни изящества, ни сладострастия. Итак, до свидания — и поговорим о другом. Как поживает подагра вашего супруга? Надеюсь, у него был основательный припадок через день после вашего приезда.

Поделом ему! Если бы вы знали, какое отвращение, смешанное с почтительностью, испытываю я к этому человеку! Божественная, ради бога, постарайтесь, чтобы он играл в карты, и чтобы у него сделался приступ подагры, подагры! Это моя единственная надежда!

Перечитывая снова ваше письмо, я нахожу в нем ужасное *если*, которого сначала не приметил: если моя кузина останется, то осенью я приеду и т. д. Ради бога, пусть она останется! Постарайтесь развлечь ее, ведь ничего нет легче; прикажите какому-нибудь офицеру вашего гарнизона влюбиться в нее, а когда настанет время ехать, досадите ей, отбив у нее воздыхателя; опять-таки ничего нет легче. Только не показывайте ей этого; а то из упрямства она способна сделать как раз противоположное тому, что надо. Что делаете вы с вашим кузеном? Напишите мне об этом, только вполне откровенно. Отошлите-ка его поскорее в его университет; не знаю, почему, но я недолюбливаю этих студентов так же, как и г-н Керн. — Достойнейший человек этот г-н Керн, почтенный, разумный и т.д.; один только у него недостаток — то, что он ваш муж. Как можно быть вашим мужем? Этого я так же не могу себе вообразить, как не могу вообразить рая.

Все это было написано вчера. Сегодня почтовый день, и, не знаю почему, я вбил себе в голову, что получу от вас письмо. Этого не случилось, и я в самом собачьем настроении, хоть и совсем несправедливо: я должен быть благодарным за прошлый раз, знаю; но что поделаешь? Умоляю вас, божественная, снизойдите к моей слабости, пишите мне, любите меня, и тогда я постараюсь быть любезным. Прощайте, *дайте ручку*.

14 августа

Пушкин — А. П. Керн

21 (?) августа 1825 г. Михайловское

Вы способны привести меня в отчаяние; я только что собрался написать вам несколько глупостей, которые насме-

шили бы вас до смерти, как вдруг пришло ваше письмо, опечалившее меня в самом разгаре моего вдохновения. Постарайтесь отделаться от этих спазм, которые делают вас очень интересной, но ни к черту не годятся, уверяю вас. Зачем вы принуждаете меня бранить вас? Если у вас рука была на перевязи, не следовало мне писать. Экая сумасбродка!

Скажите, однако, что он сделал вам, этот бедный муж? Уже не ревнует ли он часом? Что ж, клянусь вам, он не был бы неправ; вы не умеете или (что еще хуже) не хотите щадить людей. Хорошенькая женщина, конечно, вольна... быть вольной[115]. Боже мой, я не собираюсь читать вам нравоучения, но все же следует уважать мужа, — иначе никто не захочет состоять в мужьях. Не принижайте слишком это ремесло, оно необходимо на свете. Право, я говорю с вами совершенно чистосердечно. За 400 верст вы ухитрились возбудить во мне ревность; что же должно быть в 4 шагах? (NB: Я очень хотел бы знать, почему ваш двоюродный братец уехал из Риги только 15-го числа сего месяца, и почему имя его в письме ко мне трижды сорвалось у вас с пера? Можно узнать это, если это не слишком нескромно?) Простите, божественная, что я откровенно высказываю вам то, что думаю: это — доказательство истинного моего к вам участия; я люблю вас гораздо больше, чем вам кажется. Постарайтесь хоть сколько-нибудь наладить отношения с этим проклятым г-ном Керном. Я отлично понимаю, что он не какой-нибудь гений, но в конце концов он и не совсем дурак. Побольше мягкости, кокетства (и главное, бога ради, отказов, отказов и отказов) — и он будет у ваших ног, — место, которому я от всей души завидую, но что поделаешь? Я в отчаянии от отъезда Анеты; как бы то ни было, но вы непременно должны приехать осенью сюда или хотя бы в Псков. Предлогом можно будет выставить болезнь

[115] В подлиннике — игра слов: maitresse *(фр.)* значит — и хозяйка, госпожа самой себе, и любовница.

Анеты. Что вы об этом думаете? Отвечайте мне, умоляю вас, и ни слова об этом Алексею Вульфу. Вы приедете? — не правда ли? — а до тех пор не решайте ничего касательно вашего мужа. Вы молоды, вся жизнь перед вами, а он... Наконец, будьте уверены, что я не из тех, кто никогда не посоветует решительных мер — иногда это неизбежно, но раньше надо хорошенько подумать и не создавать скандала без надобности.

Прощайте! Сейчас ночь, и ваш образ встает передо мной, такой печальный и сладострастный: мне чудится, что я вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста.

Прощайте — мне чудится, что я у ваших ног, сжимаю их, ощущаю ваши колени, — я отдал бы всю свою жизнь за миг действительности. Прощайте, и верьте моему бреду; он смешон, но искренен.

Пушкин — А. П. Керн

28 августа 1825 г. Михайловское

Прилагаю письмо для вашей тетушки; вы можете его оставить у себя, если случится, что они уже уехали из Риги. Скажите, можно ли быть столь ветреной? Каким образом письмо, адресованное вам, попало не в ваши, а в другие руки? Но что сделано, то сделано — поговорим о том, что нам следует делать.

Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его, но знаете, как? Вы оставляете там все семейство, берете почтовых лошадей на Остров и приезжаете... куда? В Тригорское? Вовсе нет: в Михайловское! Вот великолепный проект, который уже с четверть часа дразнит мое воображение. Вы представляете себе, как я был бы счастлив? Вы скажете: «А огласка, а скандал?» Черт возьми! Когда бросают мужа, это уже полный скандал, дальнейшее ничего не значит или значит очень мало. Согласитесь, что проект мой романтичен! — Сходство характеров, ненависть к преградам, сильно развитый орган полета,

и пр. и пр. — Представляете себе удивление вашей тетушки? Последует разрыв. Вы будете видаться с вашей кузиной тайком, это хороший способ сделать дружбу менее пресной — а когда Керн умрет — вы будете свободны, как воздух... Ну, что вы на это скажете? Не говорил ли я вам, что способен дать вам совет смелый и внушительный!

Поговорим серьезно, т. е. хладнокровно: увижу ли я вас снова? Мысль, что нет, приводит меня в трепет. — Вы скажете мне: утешьтесь. Отлично, но как? Влюбиться? Невозможно. Прежде всего надо забыть про ваши спазмы. — Покинуть родину? Удавиться? Жениться? Все это очень хлопотливо и не привлекает меня. — Да, кстати, каким же образом буду я получать от вас письма? Ваша тетушка противится нашей переписке, столь целомудренной, столь невинной (да и как же иначе... на расстоянии 400 верст). — Наши письма, наверное, будут перехватывать, прочитывать, обсуждать и потом торжественно предавать сожжению. Постарайтесь изменить ваш почерк, а об остальном я позабочусь. — Но только пишите мне, да побольше, и вдоль, и поперек, и по диагонали (геометрический термин). Вот что такое д и а г о н а л ь[116]. А главное, не лишайте меня надежды снова увидеть вас. Иначе я, право, постараюсь влюбиться в другую. Чуть не забыл: я только что написал [письмо] Нети[1] письмо, очень нежное, очень раболепное. Я без ума от Нети. Она наивна, а вы нет. Отчего вы не наивны? Не правда ли, по почте я гораздо любезнее, чем при личном свидании; так вот, если вы приедете, я обещаю вам быть любезным до чрезвычайности — в понедельник я буду весел, во вторник восторжен, в среду нежен, в четверг игрив, в пятницу, субботу и воскресенье буду, чем вам угодно, и всю неделю — у ваших ног. — П р о щ а й т е.

28 августа

---

[116] Это фраза написана из угла в угол письма — по диагонали.

Не распечатывайте прилагаемого письма, это нехорошо. Ваша тетушка рассердится.

Но полюбуйтесь, как с божьей помощью все перемешалось: г-жа Осипова распечатывает письмо к вам, вы распечатываете письмо к ней, я распечатываю письма Нетти — и все мы находим в них нечто для себя назидательное — поистине это восхитительно!

<П. А. Осиповой>

Да, сударыня, пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает. Ах, эти люди, считающие, что переписка может к чему-то привести. Уж не по собственному ли опыту они это знают? Но я прощаю им, простите и вы тоже — и будем продолжать.

Ваше последнее письмо (писанное в полночь) прелестно, я смеялся от всего сердца; но вы слишком строги к вашей милой племяннице; правда, она ветрена, но — терпение: еще лет двадцать — и, ручаюсь вам, она исправится. Что же до ее кокетства, то вы совершенно правы, оно способно привести в отчаяние. Неужели она не может довольствоваться тем, что нравится своему повелителю г-ну Керну, раз уж ей выпало такое счастье? Нет, нужно еще кружить голову вашему сыну, своему кузену! Приехав в Тригорское, она вздумала пленить г-на Рокотова и меня; это еще не все: приехав в Ригу, она встречает в ее проклятой крепости некоего проклятого узника и становится кокетливым провидением этого окаянного *каторжника*! Но и это еще не все: вы сообщаете мне, что в деле замешаны еще и мундиры! Нет, это уж слишком: об этом узнает г-н Рокотов, и посмотрим, что он на это скажет. Но, сударыня, думаете ли вы всерьез, что она кокетничает равнодушно? Она уверяет, что нет, я хотел бы верить этому, но еще больше успокаивает меня то, что не все ухаживают на один лад, и лишь бы другие были почтительны, робки и сдержанны, — мне ничего больше не надо. Благодарю вас, суда-

рыня, [за ваше] за то, что вы не передали моего письма: оно было слишком нежно, а при нынешних обстоятельствах это было бы смешно с моей стороны. Я напишу ей другое, со свойственной мне дерзостью, и решительно порву с ней всякие отношения; пусть не говорят, что я старался внести смуту в семью, что *Ермолай Федорович* может обвинять меня в отсутствии нравственных правил, а жена его — издеваться надо мной. — Как это мило, что вы нашли портрет схожим: «смела в» и т. д. Не правда ли? Она отрицает и это; но, конечно, я больше не верю ей.

Прощайте, сударыня. С великим нетерпением жду вашего приезда... мы позлословим на счет Северной Нетти, относительно которой я всегда буду сожалеть, что увидел ее, и еще более, что не обладал <?> ею <?>. Простите это чересчур откровенное признание тому, кто любит вас очень нежно, хотя и совсем иначе.

Михайловское.
Госпоже Осиповой.

Пушкин — А. П. Керн

22 сентября 1825 г. Михайловское

Ради бога, не отсылайте г-же Осиповой того письма, которое вы нашли в вашем пакете. Разве вы не видите, что оно было написано только для вашего собственного назидания? Оставьте его у себя, или вы нас поссорите. Я пытался помирить вас, но после ваших последних выходок отчаялся в этом... Кстати, вы клянетесь мне всеми святыми, что ни с кем не кокетничаете, а между тем вы на «ты» со своим кузеном, вы говорите ему: *я презираю твою мать*. Это ужасно; следовало сказать: *вашу мать*, а еще — лучше — ничего не говорить, потому что фраза эта произвела дьявольский эффект. Ревность в сторону, — я советую вам прекратить эту переписку, советую, как друг, поистине вам преданный без громких слов и кривляний. Не понимаю, ради чего вы кокетничаете с юным

студентом (притом же не поэтом) на таком почтительном расстоянии. Когда он был подле вас, вы знаете, что я находил это совершенно естественным, ибо надо же быть рассудительным. Решено, не правда ли? Бросьте переписку, — ручаюсь вам, что он от этого будет не менее влюблен в вас. Всерьез ли говорите вы, уверяя, будто одобряете мой проект? У Анеты от этого мороз пробежал по коже, а у меня голова закружилась от радости. Но я не верю в счастье, и это вполне простительно. Захотите ли вы, ангел любви, заставить уверовать мою неверующую и увядшую душу? Но приезжайте, по крайней мере, в Псков; это вам легко устроить. При одной мысли об этом сердце у меня бьется, в глазах темнеет, и истома овладевает мною. Ужели и это тщетная надежда, как столько других?.. Перейдем к делу; прежде всего, нужен предлог; болезнь Анеты — что вы об этом скажете? Или не съездить ли вам в Петербург? Вы дадите мне знать об этом, не правда ли? — Не обманите меня, милый ангел. Пусть вам буду обязан я тем, что познал счастье, прежде чем расстался с жизнью! — Не говорите мне о восхищении: это не то чувство, какое мне нужно. Говорите мне о любви: вот чего я жажду. А самое главное, не говорите мне о стихах... Ваш совет написать его величеству тронул меня, как доказательство того, что вы обо мне думали — на коленях благодарю тебя за него, но не могу ему последовать. Пусть судьба решит мою участь; я не хочу в это вмешиваться... Надежда увидеть вас еще юною и прекрасною — единственное, что мне дорого. Еще раз, не обманите меня.

22 сент. Михайловское.

Завтра день рождения вашей тетушки; стало быть, я буду в Тригорском; ваша мысль выдать Анету замуж, чтобы иметь пристанище, восхитительна, но я не сообщил ей об этом. Ответьте, умоляю вас, на самое главное в моем письме, и я поверю, что стоит еще жить на свете.

Пушкин и Анна Н. Вульф — А. П. Керн

8 декабря 1825 г. Тригорское

<Пушкин>

Никак не ожидал, чародейка, что вы вспомните обо мне, от всей души благодарю вас за это. Байрон получил в моих глазах новую прелесть — все его героини примут в моем воображении черты, забыть которые невозможно. Вас буду видеть я в образах и Гюльнары, и Леилы — идеал самого Байрона не мог быть божественнее. Вас, именно вас посылает мне всякий раз судьба, дабы усладить мое уединение! Вы — ангел-утешитель, а я — неблагодарный, потому что смею еще роптать... Вы едете в Петербург, и мое изгнание тяготит меня более, чем когда-либо. Быть может, перемена, только что происшедшая, приблизит меня к вам, не смею на это надеяться. Не стоит верить надежде, она лишь хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем. Что поделывает ваш муж, мой нежный гений? Знаете ли вы, что в его образе я представлю себе врагов Байрона, в том числе и его жену.

8 дек.

Снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, что иногда вас ненавижу, что третьего дня говорил о вас гадости, что я целую ваши прелестные ручки и снова перецеловываю их, в ожидании лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны и т. д.

<Анна Н. Вульф>

Наконец-то, милый друг, Пушкин принес мне письмо от тебя. Давно было пора получить мне от тебя весточку, так как я не знала, что и подумать о твоем молчании; однако из письма твоего я не вижу, что могло тебе помешать писать ко мне, и не могу понять, на какое письмо ты мне отвечаешь — на то ли, которое я тебе послала через мадмуазель Ниндель,

или на другое; твои письма всегда меня сбивают с толку. Алексей писал мне, что ты отказалась от намерения уехать и решила остаться. Я поэтому совсем было успокоилась на твой счет, как вдруг твое письмо так неприятно меня разочаровало. Почему ты не сообщаешь мне ничего определенного, а предпочитаешь оставлять меня в тревоге? Не бойся за свои письма, можешь писать теперь просто на мое имя в Опочку. Моих писем больше уже не вскрывают, они тащатся через Новоржев и иногда могут даже затеряться. Вполне ли решен твой отъезд в Петербург? Последнее событие не изменит ли твоих планов? Байрон помирил тебя с Пушкиным; он сегодня же посылает тебе деньги — 125 рублей, его стоимость. Следующей почтой постараюсь прислать тебе свой долг, мне очень неприятно, что я заставила тебя так долго ждать. Сейчас не могу заговаривать об этом с матушкой, она очень больна, уже несколько дней в постели, у нее рожистое воспаление на лице...

Что тебе еще рассказать? Этой зимой надеюсь непременно уехать в Тверь, а покамест томлюсь, тоскую и терпеливо жду: отвечай мне поскорее. Бетшер давно уже в Острове, *но нам от этого не легче. Прощай, мой друг*, навсегда твоя подруга.

Анета.

Анна Н. Вульф и А. П. Керн — Пушкину

16 сентября 1826 г. Петербург

Петербург, 16 сентября

<Анна Н. Вульф>

Я так мало эгоистична, что радуюсь вашему освобождению и горячо поздравляю вас с ним, хотя вздыхаю, когда пишу это, и в глубине души дала бы многое, чтобы вы были еще в Михайловском, [и] все мои усилия быть благородной не

могут заглушить чувство боли, которое я испытываю оттого, что не найду вас больше в Тригорском, куда влечет меня сейчас моя несчастная звезда, чего бы только не отдала я за то, чтобы не уезжать из него вовсе и не возвращаться туда сейчас. — Я послала вам длинное письмо с князем Вяземским — мне хотелось бы, чтобы оно не дошло до вас, я была тогда в отчаянии, узнав, что вас взяли, и не знаю, каких только безрассудств я не наделала бы. Князя я увидела в театре и занималась только тем, что лорнировала его в течение всего спектакля, я надеялась тогда рассказать вам о нем! — Я была чрезвычайно рада вновь увидеться с вашей сестрой — она очаровательна — знаете, я нахожу, что она очень похожа на вас. Не понимаю, как не заметила я этого раньше. Скажите, пожалуйста, почему вы перестали мне писать — из равнодушия или забвения? Гадкий вы. Вы не заслуживаете любви, мне надо свести с вами много счетов — но горе, которое я испытываю оттого, что не увижу вас больше, заставляет меня все забыть. *Бедному богдыхану сколько хлопот, я думаю, в Москве — я думаю, он устанет внимать гимну беспрестанно. — А. Керн вам велит сказать, что она бескорыстно радуется вашему благополучию* <*А. П. Керн*:> и любит искренно без затей. <*Анна Н. Вульф*:> Прощайте, мои радости, миновавшие и неповторимые. Никогда в жизни никто не заставит меня испытывать такие волнения и ощущения, какие я чувствовала возле вас. Письмо мое доказывает, какое у меня доверие к вам. — Надеюсь поэтому, что вы не станете меня компрометировать и разорвете это письмо; получу ли я на него ответ? —

Господину
Александру П. —
подставному братцу, дабы не скандализовать общество.

Алексей Н. Вульф, Анна Н. Вульф и Пушкин — А. П. Керн

1 сентября 1827 г. Тригорское

<Алексей Н. Вульф>

Точно, милый мой друг, я очень давно к тебе не писал; главнейшая причина была та, что я надеялся ежедневно ехать в Петербург, но теперь, когда я вижу, что сия желанная минута не так скоро приблизится, я решил тебе снова напомнить обо мне. — Судьбе угодно, чтобы прежде, нежели я вступлю на опасную стезю честолюбия, я бы поклонился праху предков моих, как древние витязи севера, оставляя родину, беседовали на могилах своих отцов — коих в облаках блуждающие тени — прости, мой ангел, я было хотел себя сравнить с Оссиановыми героями и уже был на пути — но сестра, которая, стоя перед зеркалом, взбивала кудри, дала мне заметить, как хорошо у ней [ле<вая>] правая[117] сторона взбита, и тем прервала полет моей фантазии.

<Анна Н. Вульф>

Не могу вытерпеть, чтоб не прервать его поэтического рассказа [за кото<рый>] и чтоб не сказать тебе, что ты обязана сему двум тарелкам орехов и яблок с зернышками, которые он съел для вдохновенья[118], et cela par sympathie en voyant dans ma lettre que tu mangeais du pâté et lui mange des noisettes et des pommes etc. etc.[119] — <*Алексей Н. Вульф*:> Ты видишь, что сестра не дает.

---

[117] (Ошибся, левая). (Примеч. Ал. Н. Вульфа.).

[118] <Алексей Н. Вульф> кои для меня столь же вкусны, как для тебя пироги яблочные.

[119] И это из чувства симпатии, увидев в моем письме, что ты ела пирожные, и он ест орехи и яблоки и проч. и проч. (фр.).

<Пушкин>

Анна Петровна, я Вам жалуюсь на Анну Николаевну — она меня не целовала в глаза, как вы изволили приказывать. Adieu, belle dame[120].

Весь ваш
Яблочный Пирог.

<Алексей Н. Вульф>

Равно как и Александр Пушкин мне, сказать тебе без дальних околичностей, что я на сих днях еду в Тверь, а после, когда бог поможет, и к Вам, в Питер. Вот тебе покуда несколько слов, приехав в колыбель моей любви, я напишу тебе более. Здравствуй.

1 сентяб. 827
Тригорск.

Распечатав пакет, ты найдешь на нем вид Тригорского, написанный Александром Сергеевичем Пушкиным. Сохрани для потомства это доказательство обширности *Гения*, знаменитого поэта, обнимающего все изящное.

Пушкин — А. П. Керн

Май 1833 — март 1836 г. Петербург

Прошу Вас, милая Анна Петровна, прислать ко мне Арендта, но только не говорите об этом бабушке и дедушке.

[120] Прощайте, прекрасная (фр.).

Е. М. Хитрово и Пушкин — А. П. Керн

Получила вчера утром ваше милое письмо, сударыня, и сама приехала бы к вам, если бы не серьезная болезнь моей дочери. Если бы вы смогли посетить меня завтра в полдень, я была бы вам очень рада

Ел. Хитрова.

Е. М. Хитрово и Пушкин — А. П. Керн

1830-е годы. Петербург

<Е. М. Хитрово — рукою Пушкина:>

Дорогая г-жа Керн, у нашей малютки корь, и с нею нельзя видеться; как только моей дочери станет лучше, я приеду вас обнять.

Ел. Хитрова.

<Пушкин>

У меня такое скверное перо, что госпожа Хитрова не может им пользоваться, и мне выпала удача быть ее секретарем.

Е. М. Хитрово — А. П. Керн

1830-е годы. Петербург

Вот, дорогая моя, письмо от Шереметева — сообщите, что в нем. Я собиралась сама вручить вам его, но мне не везет, начался дождь.

Ел. Хитрова.

Пушкин — А. П. Керн

Вот ответ Шереметева. Желаю, чтобы он был вам благоприятен — г-жа Хитрова сделала все, что могла. Прощайте, прекрасная. Будьте покойны и довольны и верьте моей преданности.

Пушкин — А. П. Керн
(*Отрывок*)

1830-е годы. Петербург

Раз вы не могли ничего добиться, вы, хорошенькая женщина, то что уж делать мне — ведь я даже и не красивый малый... Все, что могу посоветовать, это снова обратиться к посредничеству...

Письма Н. О. и С. Л. Пушкины к А. П. Керн

Н. О. Пушкина — А. П. Керн

сего 16 августа 1827. С. Петербург

Дорогая и добрейшая моя Анета, еще прежде, чем я получила ваше письмо, переданное через Руссильона, я написала вам, дабы поделиться доброй весточкой от Леона, по счастью, письмо его дошло до нас раньше газеты с сообщением о военных действиях которая, получи мы ее раньше, не только бы нас не обрадовала, а ввергла бы в еще большее беспокойство о судьбе моего сына — мы бы даже не знали, жив ли он. Добрая моя Ольга избавила меня от нескольких мучительных часов, в утро того самого дня, когда получено было его письмо, — она, встав пораньше, отправилась на утреннюю прогулку и, зайдя по пути к одной из своих приятельниц, прочитала там реляцию о событиях 5 июля, а вернувшись домой, нашла в себе мужество скрыть от нас свои чувства — только при чтении письма от нашего дорогого Леона она вдруг разразилась рыданиями и призналась, что провела самое страшное утро в своей жизни, сознавая ту опасность, в которой находился нижегородский полк, и ничего не зная о судьбе брата. Пока, на какое-то время, мы успокоились, но ведь война не кончена!

Надеюсь на божественное Провидение, доселе оно хранило дорогого моего Леона, Господь не останется глух к молениям матери, я уповаю на милосердие его. И, быть может, я вскоре буду иметь счастье увидеть сына и прижать к своему сердцу.

Александр изредка пишет два-три слова своей сестре, он сейчас в Михайловском, подле своей «доброй нянюшки», как вы мило ее называете. Давно уже не имею вестей от Прасковьи Александровны. Анета пишет Ольге. У меня нет более

времени продолжать беседу с вами, любезная Анета, будьте здоровы и по-прежнему любите меня.

Н. О. Пушкина — А. П. Керн

Сего 22 августа 1827. [Ревель]

До чего же я обязана вам, любезнейшая моя, дорогая Анета, за то, что вы так аккуратно отвечаете мне и хлопочете по моему поручению о приискании для нас квартиры; очень мне жаль, но дом, который находится в одном дворе с вашим, никак нам не подходит — я эту квартиру знаю, она уныла как тюрьма, ни одно окно не выходит там на улицу, солнца не бывает никогда. Это тот самый дом, который в прошлом году снимал Неёлов. Нам несколько лет назад его уже предлагали, но мы отказались, потому что он показался нам унылым словно *острог*. Цена-то его как раз подходящая. Другая же квартира, что по соседству с вами, слишком для нас дорога. Какая жалость, что не хватает одной комнаты в доме Полторацких. Я полагаю, что барон Дельвиг охотно бы ее нанял, поскольку ни сарай, ни конюшни ему не нужны, и ежели бы ему уступили немного, она бы вполне его устроила, но он и сам в этом убедится; завтра вечером он уезжает и, полагаю, в пятницу будет в Петербурге. Мы остаемся здесь еще до 14-го, а затем я отправлюсь в окрестности Нарвы повидаться с кузинами, а вы пока что, моя милая, добрая Анета, постарайтесь подыскать нам квартиру, не смущаясь тем, что первые две нам не подошли. Мне самой это обидно — я так люблю Фонтанку. Однако хватит на сегодня толковать о квартирах. Позвольте мне немного попенять вам, что вы так мало пишете о себе; вы ничего не говорите, принимаете ли вы ванны, которые должны были принести вам облегчение; что поделываете? С кем встречаетесь? Все так же ли вы ленивы ходить пешком? Как ваши денежные дела? Извольте ответить на все эти вопросы, которые лишь свидетельствуют о том, с каким

живейшим интересом я отношусь ко всему, что касается до вашей прелестной особы. Базен все не едет, не может расстаться с вами — его можно понять.

Что сказать о себе, дорогая Анета. Письмо Леона воодушевило меня всего лишь на несколько дней, и я снова в тревоге: война ведь еще не кончена, и потом он ведь ничем не награжден, получи он какое-либо награждение, об этом было бы в приказах, нам об этом написали бы из Петербурга, и мне незачем просить вас постараться добыть их; а потом, бог знает, когда еще мы узнаем о нем что-либо, он так далеко, он подвергается таким опасностям, тревоги моей не выразить словами, я пытаюсь отвлекаться, но тщетно. Я писала ему через Оппермана, мы послали ему денег, но получит он их не ранее как через месяц, а он, быть может, в них сейчас нуждается; все это терзает меня, и я никогда не кончу, если дальше стану писать обо всем, что мучает меня, посему предпочитаю кончить свои иеремиады, пойду сейчас прихорошусь. Нынче день коронации, и я еду на бал в дворянское собрание; будет музыка и иллюминация в саду, все веселятся, и я не отстаю от других, мне просто более грустно на душе — только всего и разницы. Прощайте! Шлю тысячу нежных приветов всем вашим. Целую вас от всего сердца. Ольга сейчас одевается к балу, я думаю, завтра она напишет вам через баронессу. Мой муж целует ваши ручки. Прасковья Александровна перестала писать мне с тех пор, как Александр подле нее. Что поделывает Netty? Обнимаю мою племянницу. Мои Фурманы в деревне. Анна Н. написала мне лишь один раз, можно подумать, что она на Камчатке, а не в девяти верстах от Петербурга...

Н. О. Пушкина — А. П. Керн

Без даты. [Петербург]

Что вы поделываете, любезная Анна Петровна, как ваше здоровье, а также здоровье вашего ребенка? Нынче я счаст-

лива, только что получила письмо от Леона, хотела утром же идти к вам пешком, да страшная грязь на улице. Буду ли я иметь удовольствие видеть вас у себя? От всего сердца обнимаю вас и сестру вашу.

Н. П.

Н. О. Пушкина — А. П. Керн

Без даты. [Петербург]

Тысяча благодарностей, любезная Анна Петровна, за вашу милую предупредительность. Черную шаль я оставлю у себя только на несколько часов, мне нужно сделать визит соболезнования. Надеюсь иметь удовольствие еще нынче вас обнять — вы ведь придете к нам обедать, неправда ли?

Н. О. Пушкина — А. П. Керн

Без даты. [Петербург]

Придете ли вы нынче пообедать к нам, любезная моя *Анна Петровна*? Надеюсь, вы доставите мне это удовольствие. Ваша тетушка едет навестить свою кузину Бегичеву, а вечером все мы будем у Дельвигов, где Леон обедает. *Прасковья Александровна* пообещала тоже быть там. Не желаете ли к нам присоединиться?

Н. О. Пушкина — А. П. Керн

16 сентября 1835. [Павловск]

Лишь в эту субботу имела я удовольствие получить письмо ваше, дорогая Анна Петровна. Должна ли я говорить, как тронута я вашим вниманием к моей особе. Вы угадали, я безмерно счастлива оказаться вместе с моей дочерью и ее ре-

бенком. Отдаю им все свое время, потому и не сообщила вам до сих пор о ее приезде, со дня на день откладывая письмо к вам, хотя не сомневалась в ваших дружеских чувствах и в том, что вам доставит удовольствие свидеться с ней. Что до собственного моего здоровья, то лучше оно не стало, я все такая же желтая и худая и еще больше слаба, чем прежде. Мы не собираемся покидать Павловска, стоит такая прекрасная погода. Надеюсь, что вы выполните свое обещание приехать потеснить <или обнять?> нас, ждем вас с нетерпением вкупе с вашим <неразб.>.

Н. П.

Приписка с. Л. Пушкина:

Присоединяюсь к просьбе жены прибыть в Павловск в сопровождении, как вы о том пишете, барона Сердобина и вашего кузена <?>. Почтительно целую ваши ручки.

С. Л. Пушкин — А. П. Керн

21 августа 1838. Михайловское.

Дорогая и добрая Анна Петровна! Вы мне перестали писать!.. Должно ли мне заключить из этого, что хотя дороги вы мне по-прежнему, вы уже не так добры ко мне, как прежде, а между тем ваши письма были для меня больше, чем радостью, и нынешнее отсутствие их больше, чем огорчает меня. Вы же хорошо понимаете, что одно неотделимо от другого. Я одинок и печален более, чем когда-либо. Я не могу долее выносить своего сиротливого существования, оно непереносимо. Чтобы я мог выдержать эту жизнь, мне необходимы старинная подруга, доброе слово, дружеский взгляд. С какой благодарностью вспоминаю я о предложении, коим вы однажды удостоили меня, посулив в случае если я найму квартиру неподалеку от вас, время от времени заходить ко мне, дабы разделять мое

одиночество. По возвращении в Петербург, которое, надеюсь, уже не за горами, я, в зависимости от того, как вы примете меня, решу, что мне делать дальше. Дорогая Анна Петровна, я еще не влюблен в вас, но именно с вами хотелось бы мне прожить оставшиеся мне еще последние печальные дни. Вы примирили бы меня с этой жизнью, которая причиняет мне одни страдания и продлить которую, как бы ни был мал отпущенный мне еще срок, я не испытываю ни малейшей охоты. Вот стихи Бенедиктова, которые подходят к тому, что я пишу вам о своем положении. Мне очень они понравились. Прочитайте их и скажите, что вы о них думаете.

Я не люблю тебя; но как бы я желал
Всегда с тобою быть, с тобою жизнью слиться,
С тобою пить ее фиал,
С тобой от мира отделиться!
И между тем, как рыцарь наших дней
Лепечет с легкостью и радостью волшебной
Воздушное люблю красавице бездушной,
Как сладко было б мне, склонясь к главе твоей
И руку сжав твою рукою воспаленной
И взор твой обратив отрадный на себя,
Тебе шептать: мой друг бесценный,
Мой милый друг, *я не люблю тебя*.

Я кажусь вам, должно быть, очень смешным, что пишу вам все это в моем возрасте, но моя ли вина, что сердце мое осталось молодо. Неужто Всевышний покарает меня за то, что я не могу жить без любви... Другое дело быть любимым, это для меня уже невозможно, это я понимаю, но дружбы, капельку дружбы! Не отказывайте же мне в ней, вы все, которых я боготворю!

Прощайте, дорогая и добрая Анна Петровна, почтительно и нежно целую ручки ваши. Не показывайте этого письма вашим кузинам, если вы видаетесь с ними, как я это предполагаю.

С. Л. Пушкин — А. П. Керн

25 июня 1845. Санкт-Петербург

Дорогая и любезнейшая Анна Петровна! Поскольку дочь ваша поделилась со мной своим желанием послать вам зеленого чая, который вы иногда мешаете с тем, который обычно пьете, я испросил у нее позволения сделать это за нее и умоляю принять от меня два фунта оного чая.

Жизненный мой опыт говорит мне, что *маленькие подарки поддерживают дружбу*. В дружбе, которой дарите меня вы, так много доброты и благорасположения, что она и не нуждается в них, но вы всегда так снисходительно принимаете все, что я осмеливаюсь вам предлагать. Povero è il don, Ricco è il Désir[121], говорят итальянцы. Думайте же не о стоимости сего подношения, а только о моем желании выразить вам посредством его неизменную свою привязанность к вам. Передайте тысячу приветов г-ну Виноградскому. Тысячу раз нежно и почтительно целую ручки ваши.

С. Пушкин

С. Л. Пушкин — А. П. Керн

21 сентября [1845]

Дорогая, любезнейшая моя Анна Петровна! Благодарю вас за бесценное любезное письмо ваше, переданное через вашу дочь. Я глубоко тронут вниманием и приязнью, кои вы в нем мне изъявляете. Вы пишете, что никогда меня не забудете. Но вы-то разве не уверены, вернее, разве можете сомневаться в том, что являетесь для меня предметом самых благостных воспоминаний и неизменно нежных чувств? Ничего не могу сообщить вам на этот раз об Оленьке. Уже больше месяца не имею от нее никаких известий. Поистине вещь небывалая!

[121] Здесь: беден подарок да велико чувство (ит.).

Ибо она писала ко мне не менее трех раз и месяц. В последнем своем письме она сетует, что давно не имеет от меня никаких известий, что весьма меня удивляет. С тех пор я самосамолично стал относить свои письма на почту, но все так же безуспешно; и это наводит меня на тревожную мысль, уж не хворает ли она сама либо дети. Она спрашивала у меня ваш адрес, я ей его тотчас же послал. Не писала ли она к вам? Соблаговолите сообщить мне об этом. Время от времени у меня все же появляется маленький луч надежды, что она сама приедет навестить меня, и мысль эта помогает переносить и ее молчание, и мое одиночество, которое становится почти непереносимым. Каким я чувствую себя несчастным, что не могу быть вам полезным касательно графа Шереметева — я незнаком ни с ним, ни с кем-либо из его друзей, ежели только таковые существуют, ибо он ведет жизнь крайне уединенную. Никто ничего о нем не слышал, неизвестно, где он прозябает, ибо жизнью это, по-моему, не назовешь. Зачем не могу я доказать вам неизменную свою дружбу, как рад был бы я содействовать всему, что могло бы послужить к вашему утешению и способствовать вашему благополучию! Прощайте! Целую прелестные ручки ваши и прошу передать тысячу добрых слов г-ну Виноградскому.

P. S. Если бы я был графом Шереметевым!.. Надеюсь, мне нет нужды говорить вам, что бы я сделал, будь я на его месте. Но на беду свою я не более как преданный вам

С. Пушкин.

С. Л. Пушкин — А. П. Керн

25 декабря [1845]

Тысяча и тысяча благодарностей, любезнейшая Анна Петровна, за бесценное письмо ваше, переданное мне через м-ль Керн. Одновременно примите горячие поздравления по случаю наступающего нового года, равно как мои сердечные

пожелания, чтобы оный год, так же, как и все последующие, принес вам счастье и благоденствие. Я крайне тронут, что вы вспомнили обо мне, равно как и г-жа Захарова, и очень признателен вам обеим за то, что вам угодно было проявить ко мне ваше внимание. Вы в скором времени, должно быть, получите письмо от Ольги, в ответ на ваше, от которого она в восторге. Она пишет, что адресует его на мое имя, с тем, чтобы я переслал его вам, дабы быть уверенной, что оно дойдет до вас без промедления.

Пишу вам в день Рождества Христова, чтобы начать столь торжественный праздник с приятного для себя занятия. Да будет день этот для вас радостным, как можно более радостным! И себе самому желаю, чтобы принес он мне самую большую радость на свете, и потому с утра отправляюсь к вашей уважаемой дочери, чтобы принести ей свои поздравления. Надеюсь, что вы не рассердитесь на эти слова — это не пошлая фраза, не пустой комплимент, это чистая правда — для меня поистине праздник, когда мне выпадает счастье повидать ее.

Прошу передать г-ну Виноградскому мои поздравления с новым годом. Да исполнятся все желания его. Нежно и почтительно целую ручки ваши и прошу, в случае, если вам доведется повстречаться с г-жой Захаровой, снова напомнить ей обо мне.

Прощайте! Будьте счастливы так, как я вам того желаю, и верьте в неизменные чувства мои к вам.

Всегда ваш С. Пушкин.

С. Л. Пушкин — А. П. Керн

5 июня 1846. Санкт-Петербург

Тысяча благодарностей, любезнейшая Анна Петровна, за доброе ваше письмо от 5 мая; я имел удовольствие получить его почти через месяц и отвечаю обратной почтой 5-го июня.

Мадемуазель Керн передала мне его в самый день его получения. Вы просите сообщить вам самые верные сведения о состоянии ее здоровья. Не стану скрывать от вас, что нахожу ее весьма слабенькой и требующей тщательного ухода. Г-н Фробен, лекарь весьма искусный, это тот самый, что так удачно врачевал ее во время прошлогодней ее болезни, навещает ее каждый день и, как мне кажется, лечит со всем необходимым старанием и настойчивостью. Он питает самые добрые надежды на будущее. Это тот самый врач, что пользует баронессу, и дружески принят у Евпраксии Николаевны, Бориса Александровича и Шенигов. Воспитывался он и учился частично в Дерптском университете, частично в Германии. Могу также удостоверить, что это человек бескорыстный и вашу уважаемую дочь лечит с любовью. Она сильно похудела и побледнела; впрочем, она каждый день выходит из дома, дышит воздухом, который приносит ей большую пользу, пьет воды, порекомендованные ей врачом, и принимает лекарства, строго следуя его предписаниям. На все можно надеяться, когда молод! По-видимому, ее поездка в Гельсингфорс не окончательно еще решена. Не думаю, чтобы близость к морю могла причинить ей какой-либо вред. Я знавал одного барона Корфа, которому в качестве режима лечения было предписано пребывание на берегу Ревельского залива, после чего он очень хорошо поправился. Пусть успокоит вас все то, что я написал вам относительно состояния м-ль Катерины. Я видел ее и вчера и третьего дня. Сегодня, как мне известно, она собирается провести день на даче г-на Сухарева, у м-ль Анненковой, внучки Федора Марковича, очаровательной женщины, с которой она связана дружбой.

Теперь, когда я ответил на главный вопрос вашего письма, который, разумеется, более всего вас занимает, скажу вам несколько слов о собственном моем здоровье, которое оставляет желать лучшего, но на которое, в сущности говоря, мне не приходится особенно жаловаться. Я страдаю астмой, которая лишь утомляет меня, когда мне приходится подниматься по высоким

лестницам; но гораздо более беспокоит меня здоровье Ольги, она проделала весьма серьезную болезнь. Вследствие запущенной простуды она получила воспаление в легких и вот уже не то три, не то четыре месяца никак не может поправиться. Ей запретили говорить, она пьет ослиное молоко и слаба сверх всякой меры. Вы ведь знаете, как она уже хорошо себя чувствовала. На этих днях я получил от нее письмо на шести страницах, чтобы успокоить меня, но оно меня не успокаивает. Вот почему я подумываю о том, не съездить ли к ней в Варшаву, если это не отнимет больше месяца, хотя я и не очень рассчитываю на свои силы.

Леон, как мне кажется, с Федором Марковичем незнаком. Он никогда со мной о нем не говорил, а сам я, дорогая и любезная моя Анна Петровна, никогда не состоял с ним в переписке и уверен, что письмо от меня не произведет на него никакого действия. Не попробуете ли вы написать ему сами? Простите мне эту откровенность. В первом же своем письме к Леону я сообщу ему все то, что вы написали мне о вашем дядюшке, и не премину тотчас же вам об этом отписать. Тысячу раз целую ваши ручки и прошу передать привет г-ну Виноградскому. И прошу вас, верьте в мои неизменно нежные чувства к вам.

Всегда ваш С. Пушкин.

С. Л. Пушкин — А. П. Керн

8 марта 1847. Санкт-Петербург

Дорогая и любезнейшая моя Анна Петровна! Получив от уважаемой вашей дочери драгоценное для меня известие, что вы помните меня и выражаете желание узнать о моих делах, беру на себя смелость написать вам и, прежде всего, умоляю простить за то, что не писал так долго. Единственное, в чем могу вас уверить, положа руку на сердце, что все это время я не переставал думать о вас с чувством неизменной дружбы и глубочайшей признательности за дружество, которым вы меня всегда

дарили. Как вам, вероятно, известно, я провел лето в Польше, у Ольги, которая была тяжело больна вследствие воспаления в легких. Получив письмо от своего зятя с несколькими приписанными ее рукой строками, я понял, что она чувствует себя хуже, чем пишет об этом. Я тотчас же отправился почтовой каретой и через четыре дня был уже подле нее. Радость, которую она испытала, неожиданно увидев меня, немало способствовала ее скорейшему выздоровлению. Ей с каждым днем становилось все лучше, и я провел три месяца вместе со всем семейством на загородной даче, которую она наняла в трех верстах от города и куда мы время от времени выезжали.

Сейчас она пишет мне, что здоровье ее уже пошло на поправку, но оно еще не таково, как бы я того желал. Мы часто там говорили о вас, и, поверьте, она сохраняет о вашей дружбе самые нежные воспоминания. Когда я вернулся сюда, у меня было несколько приступов астмы, которой я всегда был подвержен и которая с недавних пор еще усилилась. И в довершение к этому я испытывал мучительную тревогу в связи с тяжелой болезнью вашей дочери и не раз, попрощавшись с ней вечером, наутро со страхом посылал к баронессе узнать о ее состоянии. Благодарение небесам, Провидение хранит ее — а набожность ее и покорность воле Всевышнего поистине беспримерны; нынче здоровье ее лучше, чем когда-либо. Все, кто любят ее, другими словами, все, кто ее знают, не могут нарадоваться на теперешнее ее состояние. Простите меня, дорогая Анна Петровна, что я отношу и себя к числу тех, кто нежно любит ее, и да будет позволено мне признаться в своих чувствах наравне с теми, кого я считаю наиболее себе близкими.

Нежно и почтительно целую руки ваши. Умоляю вас не лишать меня вашей приязни и благосклонности. Что до моей привязанности к вам, то она принадлежит вам навечно. Тысячу приветов г-ну Виноградскому. Прошу считать меня до конца дней моих глубоко преданным вам Сергеем Пушкиным.

Письма
А. А. и С. М. Дельвиг к А. П. Керн

А. А. Дельвиг и С. М. Дельвиг — А. П. Керн

1829—1830 годы. Петербург
<А. А. Дельвиг: >

Милая жена, трудно давать советы. Предложения Петра Марковича могут удасться и нет. И в том и в другом случае вы будете раскаиваться, как бы вы ни поступили. Повинуйтесь сердцу. Это лучший совет мой. Сонечку я нынче не отпускаю к вам. Мне неможется; притом я боюсь, чтобы в ее положении она не получила кашля. Будьте здоровы.

< С. М. Дельвиг: >

Дорогой друг! Ежели ты согласишься на предложение Петра Марковича, то муж поможет тебе написать вернейшее письмо. Я имела неосторожность сказать при нем, что у Ольги коклюш, и он теперь боится, никак не соглашается меня пускать к тебе. Тебе бы написать отцу, что у тебя нет ни ума, ни времени, ни здоровья, чтобы отвечать скоро. Эту спекуляцию надобно обдумать; тут и в самом деле надобно более думать, нежели чтобы отвечать на то, что людей не на что отправлять и что ты остаешься без человека (кажется, на это он не имеет ни ума, ни времени отвечать?). Мне очень грустно, что я не могу у тебя быть.

Между тем вот тебе известие: за твой перевод дают 300 рублей. Согласна ли ты на это? Ежели согласна, то мы сыщем писаря — ведь надобно переписать все это. Завтра, как поведут детей, я велю зайти к тебе, и ты напишешь мне ответ. А я все-таки узнаю, что возьмут за переписку. Надеюсь, что сюда не так еще скоро приедет твой отец. А (неразб.) твои не могут к нему попасть. Целую тебя, мой ангел. Будь покойна. Нечего делать, коли бог дал такого отца.

С. М. Дельвиг и О. М. Сомов — А. П. Керн

1829—1830 годы. Петербург

<*С. М. Дельвиг:*>

Надеюсь, ангел мой, что ты не сердишься на меня за то, что я не была у тебя вчера,— ты ведь знаешь, какое для меня лишение не видеть тебя, так что вини здесь моего мужа, дурную погоду, в общем, кого тебе вздумается, только не меня.

Завтра я непременно должна обедать у Александры Дмитриевны, но вечер приеду провести с тобой; я предупрежу ее, что к ней приеду рано, чтобы так же рано уехать. Она рано обедает. Господин Сомов предполагает также быть у тебя, не передаю тебе от него поклонов, ибо он сам хочет приписать несколько слов к моей записке. Лангер, который сейчас здесь, просит сказать, что явится к тебе, когда будет более презентабелен, т. е. когда снимет свой парик и закажет новое платье. Еще у меня Максимович, который приехал проститься. Мне все эти дни очень скучно, не знаю, куда деваться. Благодарю тебя, мой ангел, за резеду— ты мне этим доставила большое удовольствие.

Прости, моя радость, Христос с тобой. Целую вас с Ольгой крепко и нежно.

<О. М. Сомов: >

Сомов припадает к стопам ея превосходительства и просит ее позволить ему приехать к безмену[122], чем Сомов будет совершенно счастлив.

<С. М. Дельвиг: >

Не правда ли, что он очень милый человек? Муж тебе очень кланяется.

---

122 Целование рук *(фр.).*

Письма А. П. Керн к А. В. Никитенко и А. В. Никитенко к А. П. Керн

А. П. Керн — А. В. Никитенко

24 июня 1827 г. Петербург

Посылаю вам отрывки ваши и — если позволите— скажу вам мнение об оных и чувства, возбужденные сим чтением: я нахожу, что ваш Герой — не влюблен! — что он много умствует и что после холодного, продолжительного рассуждения как бы не у места несколько пламенных и страстных выражений. Я бы думала заставить его (относясь к ней же, может быть), говорить все это прежде, чем он полюбил ее всеми способностями души; но после — не годится. Глубокое чувство — не многоречиво. Вот мое мнение; не подосадуйте за смелость, с которою я здесь его изложила. Мне не хотелось скрыть его от вас, и, признаюсь, подумала, что оно не будет для вас бесполезно. Вы желаете сделать впечатление на чувства и чтоб изображаемые вами были найдены естественны и сильны? — заставьте любить вашего Героя,— он не любит, он холоден как лед! — Поверьте, что я не ошибаюсь, и чтение, и опытность — позволяют мне судить о сей статье.

Простите еще раз,— отвечайте, чтоб я видела, что мои замечания не произвели над вами неприятного впечатления и что вы не понегодуете на меня за оные.

Вам преданная и готовая к услугам
А. Керн.

<А. В. Никитенко>

24 июня 1827 г.

/На обороте/: NB. Пришлите мне мои листки, если вы их прочли. Александру Васильевичу Никитенке.

А. В. Никитенко — А. П. Керн

27 июня 1827 г. Петербург

1827 Июня 27.

Милостивая государыня, Анна Петровна!

Благодарю Вас за ту откровенность, с которою Вы изложили свои мысли о моих отрывках. Я принадлежу к роду людей, коих характер не вдруг можно себе изъяснить, хотя думаю, что изъяснявши его раз, не будут делать дополнений, не будут стараться изгладить из памяти узнанное. Но мне приятно, что Вы успели получить об нем столь хорошее мнение, что не думали оскорбить меня, осуждая во мне автора. Вы не ошиблись.

Позвольте и мне с такою же искренностию сказать несколько слов не в защиту себя, но для того, чтобы изъяснить несколько причину впечатления, произведенного в Вас моим опытом. Мне кажется, оная заключается, во-первых, в том, что опыт сей содержит в себе частицу, в коей недостаток связи с другими препятствует ей быть столько ясною и определительною, сколько должно. Мне бы надобно было прежде присоединить к ней другие, и тогда Вам представить. Во-вторых, может быть, наши мысли о некоторых предметах различны. Для сего я должен сказать Вам несколько слов о себе и о тех понятиях, на коих я основываю мою деятельность умственную и нравственную. И мне приятно думать, что различие сих понятий с Вашими заключается не в ином чем, как только в разных точках зрения, с которых смотрим мы на предмет, равно занимающий нас, равно занимающий всех, отделенных жребием души от толпы.— Я добр и нежен в сердце моем. *Нежен*,— скажете Вы, может быть, с улыбкой удивления? Да, точно так! Но сие тонкое чувство слишком глубоко скрыто в моем сердце, оно слишком дорого для меня, слишком разборчиво, чтобы быть обыкновенным явлением в моей жизни.

Господствующая страсть, занимающая все силы души моей, есть любовь к человечеству, соединенная с пламенным стремлением проникнуть в тайну его блага и его злополучий. Я испытал бурю страстей: они были сильны и глубоки, но смею сказать, что ни одна из них не оставила на сердце моем следа, которого бы я должен быть стыдиться, — они могли погубить меня, но не унизить. Из хаоса их, из хаоса несчастий, которые не были ни обыкновенны, ни мечтательны, я изнес душу мою в первобытной ее чистоте, но мужественную, потерявшую вкус к обыкновенным удовольствиям жизни, готовую отвергнуть всякое счастие, не соединенное со славою доблести. Вот, может быть, почему люди, имевшие ко мне соотношения, всегда почти располагались ко мне двояким образом: одни ощущали ко мне любовь с некоторым родом томительного страха — как они сами говорили. — Чистота моих намерений, которую обыкновенно узнают люди в других по какому-то инстинкту, — производила первую; то, чего они не могли понять, рождало другой. Другие, имевшие случай узнать меня короче, любили меня просто и тихо и говорили, что это для них хорошо. К третьему разряду можно бы причислить врагов, но я почти их не имел — и за что сделались бы они моими врагами, когда я без всякого педантского великодушия в минуту их злобы всегда готов спросить у них спокойно: «не нужен ли я для них?» Я имел еще гонителей; но это были слепые орудия судьбы.

После сего Вам ясно будет, что, готовясь действовать в кругу людей словом и делом и начиная хоть с первого, я совсем не имею в виду растрогать чувствительность или занять сердце их игрою их собственных чувствований; но направить их, если можно, к лучшему, то есть к простоте и благоразумнейшему понятию о их собственном благе. Я смотрю более на то, что совершается и зреет в недрах нашего века, нежели на то, что в особенности движет какое-нибудь из сердец, им увлекаемых. Выражение любви в моем отрывке кажется Вам холодно; оно и не должно быть так пламенно, чтобы могло сжечь все прочие

чувствования. Следуя духу писателей, достойных своей славы и благодарности людей, также собственному моему убеждению, я желаю писать о человеке и для человека. Любовник, друг, враг, счастливый и несчастный должны быть у меня только, так сказать, средствами, чтобы сделать что-нибудь полезное для первого. И бывает ли, когда человек только друг, только любовник, враг, счастлив или несчастлив? Этого нет в природе! Наши нужды и отношения, наши должности слишком многосложны, чтобы мы могли, чтобы мы смели заключить себя в одном понятии или в одном чувстве. Одна добродетель имеет силу их примирять, сосредоточивать и приводить в гармонию — и самое лучшее для человека есть то, чтобы был чаще добродетельным. Посему любовь у меня не должна составлять главного, единственного предмета; она не должна поглотить всего сердца — моего Героя, но занять только большую его часть — большую, ибо сие чувство в самом деле сильнее многих. В век любви рыцарь говорил своей красавице: «Я люблю тебя больше моей славы и меньше чести!» Это потому, что человек с возвышенною душою почитает любовь за добродетель, но не за такую, в которой бы оканчивались все его должности. Поверьте, что если мужчина любит более всего, то он или не достоин своего предмета, или любит воображением, а не сердцем. Самая любовь делается для него средством к тому, чтобы возвысить себя героизмом доблести. Здесь не любовь производит великое; но великое, уже рожденное, уже созревшее в душе благородной, объемлется с любовью и делается могущественным союзом сил. Вы весьма тонко и справедливо заметили ошибку Руссо в характере Юлии; мне кажется, что он сделал ее также и в характере Сен-Пре. Он малодушен; он никогда не в состоянии был бы сказать своей любезной, как сказал один римлянин: «Не плачь, мой друг! Я расстаюсь с тобой, чтобы пасть за отечество». Бомстон учит его, как школьника, быть несколько добродетельным. Гомер в этом случае лучше Жан-Жака знал человеческое сердце; у него Андромаха видит, знает, любит одного

Гектора; это естественно: для женщины предмет, ее достойный, не только любовник: он для нее все — он составляет для нее целый мир. Но Гектор не может так чувствовать: ибо Троя стоит на краю пропасти и Ахилл не дремлет. Любовник — только любовник и беспрестанно любовник должен быть несносен для своей любезной.

Еще: мой Герой умствует — говорите вы. — Как же быть? Он должен высказать часть понятий и чувств века. Лишь бы он не завирался — моя героиня хоть из любви к нему будет слушать его речи. Я не желаю, чтобы, прочтя мою книгу, сказали только: «Как она приятна! Автор ее должен быть любезный человек». Но чтобы, несколько задумавшись над ней, сказали: «Она и полезна — автор ее желает нам блага. Он должен быть добрый человек».

Вот Вам часть моей исповеди. Когда Вы истребите письмо сие, о чем усердно Вас прошу, то сохраните, однако ж, в памяти некоторые черты из оного. Лета пролетят. Вы услышите обо мне, если не забудете моего имени, сравните сии черты с подлинными и скажите: «Это тот самый человек, которым я знала его прежде!»

Вы желаете, чтобы записки Ваши не произвели во мне неприятных впечатлений; судя по тому, сколь много я уважаю Ваши мнения, они должны бы родить их. Но из письма сего Вы видите то, что несколько меня утешает,— и я думаю, что если бы целое было пред Вами точно так, как оно есть в уме моем, то и Вы не отказали бы мне в своем одобрении. Истинно прискорбно было бы для меня то, если бы Вы за ошибки автора осудили самого человека; но этого я не страшусь: ибо уверен, что Ваши понятия о людях и вещах слишком возвышенны, слишком обширны, чтобы могли определить приговор столь односторонний. — Имевши счастие познакомиться с Вами, я со всею пылкостью, свойственною духу моему, признал в душе Вашей то, что возбуждает уважение, и в положении Вашем то, что возбуждает уча-

стие, — это признание, особенно, смею сказать, в моем характере, не таково, чтобы мелкие расчеты самолюбия или, лучше сказать, эгоизма могли его опровергнуть. Браните мои сочинения — а я всегда скажу: «Она думает о такой-то вещи так, а я иначе: что нужды? Смешна нетерпимость мнений между людьми, одинаково любящими свободу ума и сердца».

Возвращаю Вам Ваши записки, хотя приятнее бы было иметь их у себя. Они прекрасны по душе, которая в них выражается, по самим выражениям, простым, но милым и трогательным. Верьте этим словам. Они справедливы. Имея перед глазами моими благородный пример искренности, я из соревнования не должен уступить Вам пальму в добродетели.

С истинным и совершенным почтением честь имею быть:

Ваш покорнейший слуга A. N.

P. S. Извините, что ответ мой и записки Ваши доставлены Вам мною не так скоро, как бы надлежало. В пятницу совсем неожиданно пригласили меня одни из моих знакомых на дачу, я думал возвратиться скоро — но меня не пустили, и я вчера только, и довольно поздно, приехал домой.

Письма М. И. Глинки к А. П. Керн (Марковой-Виноградской)

М. И. Глинка — А. П. Керн

10 июля 1840 г. Петербург

Среда, 10 июля

Я в отчаянии, сударыня, что не могу явиться по вашему любезному приглашению: не предвидел его и назначил сегодня вечером встречу некоторым лицам, которую мне невозможно отложить. Завтра между одиннадцатью и полуднем я предстану перед вами и буду к вашим услугам.

Прошу вас передать вашей дочери прилагаемые книги от моего имени, как скромный подарок на память.

Благоволите принять уверение в моем совершенном уважении и (если вы позволите) в искренней дружбе вашего преданного слуги

М. Глинки.

М. И. Глинка — А. П. Керн

17 августа 1840 г. Смоленск

Смоленск, 17 августа.

Вы можете представить себе, как тягостно мне было, расставшись с вами, продолжать мое путешествие. Когда ваша карета скрылась от моих взоров, я почувствовал себя как бы осиротелым и сел в коляску в самом грустном и мрачном расположении духа. Лошади тащили шагом по раскаленному песку, и на каждой станции меня держали по три или четыре часа, так что едва уже ввечеру я добрался до Порхова, сделав менее 60 верст в день. От Порхова же зато решился ехать день и ночь и, приехав в Смоленск днем ранее предпо-

ложенного, хотя и чувствую усталость, однако же, слава богу, здоров и крепок.

Как вы поживаете в Тригорске? Сообщите мне подробное описание вашего там пребывания, в особенности о месте, где покоится прах Пушкина. Душевно сожалею, что обязанности к матушке не позволили мне вам сопутствовать.

Теперь только август, а я уже терпел от холода и мороза. Итак, не оставайтесь долго в Псковской губернии, а поскорей в Малороссию, иначе пострадаете дорогой.

Вы у меня требовали маршрута, теперь сообщу вам его: из Тригорска вам надобно отправиться на Великие Луки, от этого города до Витебска около 160 верст. В Витебске отдохните сутки, потом в Могилеве, где рекомендую то же сделать, из Могилева в Чернигов, а там уже сами знаете, как добраться до Лубен.

Прикажите в Тригорске и во всяком городе, где будете останавливаться, тщательно осматривать экипаж.

Извините, что я наскучаю вам этими наставлениями, но полагаю, что это будет не излишнее, в особенности принимая в соображение неопытность вашего человека.

Сегодня утром я отправляюсь далее, завтра надеюсь быть у матушки — и постараюсь преодолеть себя, чтобы быть ей в утешение. Она с нетерпением меня ожидает. Здоровье мое не пострадало от мучительного пути, и я надеюсь, что бог подкрепит меня в моем намерении успокоить редкую мать, осыпавшую меня бесчисленными благодеяниями. Вы также, надеюсь, будете ангелом-хранителем для вашей дочери и, наблюдая за нею со свойственной вам проницательностию, изгладите и последние остатки ее недугов. Поверяя себя в ваше дружеское расположение, остаюсь с чувством искренней дружбы и признательности вашим преданнейшим слугой.

М. Глинка.

Милого Сашу целую.

М. И. Глинка — А. П. Керн

30 января 1841 г. Петербург

30 декабря

Если бы я мог следовать влечению своего сердца, то, конечно, я предупредил бы вас, сударыня, уже с давних пор, но, хотя вы и утверждаете, что не пишут потому, что не хотят писать, я могу вас уверить, что мое нравственное состояние таково, что я ни в какой степени не владею собою, ибо мои нервные боли поразили главным образом голову и сердце. Имейте же, умоляю вас, немножко снисхожденья к тому, кого вы некогда считали другом, и примите доброжелательно мои поздравления с новым годом и горячие пожелания вам счастья.

Известие о смерти г. Керн огорчило меня тем сильнее, что я могу живо себе представить горе, причиненное вашей дочери. Большое счастье, что вы были там, чтобы осушить ее слезы и разделить с нею ее печаль,— отсутствующие лишены этого сладкого утешения, их нет в те минуты, когда присутствие их было бы хоть чем-нибудь полезно, а письменные утешения приходят обыкновенно слишком поздно.

Я очень досадую, сударыня, что мог доставить вам неудовольствие выражениями, которые вы находите странными,— мне нет необходимости распространяться, чтобы сказать вам, что беспокойство и упадок духа не располагают к логической последовательности и что больное сердце говорит языком странным для того, кто имеет счастье жить благополучно и спокойно. Так и со мною. В деревне я опасно захворал, и эта болезнь перевернула все — я не могу ничего предпринять, ни строить какие-либо предположения относительно будущего — моя странная и капризная болезнь всегда дает себя знать и способна разрушить все в любой момент. Таким образом, все эти фразы, которые вы находите необъяснимыми, явля-

ются в действительности лишь выражением того же самого беспокойства относительно отсутствующего лица, горести которого всегда представляются большими, чем они являются, может быть, на деле. Пребывание в деревне является для меня столь антипатичным, что я находил бы весьма естественным, если бы и другие держались по этому поводу того же мнения — родные и соседи (если они имеются) с их наклонностью к сплетням и коварным пересудам превратили бы рай в настоящий ад.

Несмотря на это отвращение к деревне, я благословил бы небо, если бы оно даровало мне счастье провести несколько дней возле вас,— и если вы еще сохраняете ко мне остаток былой дружбы, это время не так отдалено, как вы изволите предполагать.

Мое путешествие с сестрой еще не решено — и я слишком мало им интересуюсь, чтобы настаивать на нем перед матерью; в случае, однако, если оно состоится, оно продлится не более нескольких месяцев и по возвращении я с радостью отправляюсь в Малороссию, если это будет вам приятно.

Прошу вас извинить, что обеспокоил вас по поводу денег: я предполагал, что вы разбогатели, если же еще нет, я никоим образом не стеснен.

Примите, сударыня, уверение в моем совершенном уважении и (если вы еще позволяете) в искренней дружбе вашего преданнейшего слуги

М. Глинки.

Поцелуйте нежно вашего ангелочка от меня.

Простите недостаток связности и неразборчивость этого письма, я очень страдаю.

М. И. Глинка — А. П. Керн

1 марта 1841 г. Петербург

1 марта 1841.

Прошу вас верить, сударыня, что, несмотря на мое молчание, моя привязанность к вам неизменна и что мое сердце неспособно забыть тех, кто был мне когда-либо дорог и от кого оно получило столько доказательств дружбы! Однообразное и в то же время утомительное существование не позволяет мне писать вам так часто, как я хотел бы. И что я мог бы вам сказать? Повествование о постоянной грусти, которую я непрерывно испытываю, о жизни, лишенной поэзии, непригодно для того, чтобы развлечь вас в вашем одиночестве. С тех пор как вы покинули Петербург, небо не даровало мне ни одного дня счастья. И хотя я окружен друзьями и почитателями, мое сердце не имеет прибежища, и напрасно вздыхает оно о прекрасных днях, которые не могут более возвратиться, здесь по крайней мере.

Я истинно счастлив взяться за выполнение дела, о котором идет речь; мне, лишенному вашего утешительного общества, приятно быть вам сколько-нибудь полезным.

Так как все дела у нас совершаются по форме, спешу сообщить вам форму прошения. Оно должно быть написано, как и все просьбы на высочайшее имя, на двухрублевых листах, одним словом, по приложенному образцу. Вы, без сомнения, найдете кого-нибудь, кто вам все это устроит, тогда отошлите просьбу в инспекторский департамент военного министерства и с тою же почтою известите меня о том, чтобы я имел время хлопотать. Дело зависит от Клейнмихеля, и к нему у меня есть верный путь. Не думаю, чтобы ваше присутствие было необходимо (хотя был бы счастливейший человек, если бы вашим присутствием вы оживили мрачную для меня столицу), — если же что непредвиденное случится,

не премину вас уведомить. Во всяком случае, поспешите, мне остается только два месяца быть в Петербурге.

В конце апреля я оставляю Петербург. Не знаю еще наверно, куда занесет меня враждебная судьба моя. Сколько могу заметить из писем матушки, она желает, чтобы я ехал с сестрою и зятем за границу, вероятно полагая, что путешествие изгладит из моего сердца горестные воспоминания, — с другой же стороны, она за отъездом сестры и зятя (самых близких ей людей, с коими она привыкла жить почти неразлучно) останется в печальном одиночестве, и я уверен, что была бы обрадована и утешена моим присутствием. В последнем письме я писал ей, что готов приехать к ней и что ожидаю на то ее приказаний. Итак, если матушка решит, что мне остаться, я не премину летом навестить вас. Тогда снова возобновятся для меня счастливые дни — чтение, дружеские беседы, прогулки, одним словом, поэтическая жизнь, которою судьба дарила меня в течение прошлого лета в вашем мирном убежище на Петербургской стороне.

В течение шести почти месяцев томительно единообразная жизнь моя не изменилась — до половины зимы я еще находил отраду в музыке и писал довольно много. Но теперь силы мои, изнуренные продолжительностью зимы, мне изменяют, и вдохновение от меня отлетело. Если судьба, сжалясь надо мною, подарит мне еще хоть несколько дней счастия, я уверен, что мой бедный Руслан быстро пойдет к окончанию. В настоящем же положении я за него решительно не принимаюсь.

Несмотря на удовольствие беседовать с вами, я должен кончить. Спешу не опоздать на почту. Пожелав вам всего лучшего, а себе — счастия скорее вас видеть, остаюсь искреннейше преданный вам

М. Глинка.

М. И. Глинка — А. П. Керн

28 марта 1841 г. Петербург

Через несколько дней я надеюсь иметь счастие видеть вас, теперь же, к несчастию, это для меня еще невозможно. Что же касается вашего дела, то будьте уверены, что я и мои друзья сделаем все, что от нас зависит. Наибольшее затруднение в настоящий момент представляет отсутствие вашего пасынка. Так как он отлучился всего на 28 дней, то лучше подождать его возвращения; только тогда вы сможете представить прошение, так как формальности требуют, чтобы с прошением были представлены:

1) указ об отставке (который вы должны вытребовать от вашего сына),

2) формулярный список (это я беру на себя и изготовлю вам просьбу),

3) свидетельство о смерти вашего мужа (об этом похлопочите чрез хозяина дома, где жил муж ваш, чтобы узнать доктора, который лечил, и священника, который хоронил его, от них и возьмите свидетельства).

Когда эти документы будут в порядке, тогда вы можете свободно ехать по подании просьбы, передав хлопоты кому-нибудь из моих или ваших друзей.

Желаю от души, чтобы ваша усталость и ее последствия скорее миновались, с нетерпением ожидаю минуты свидания с вами. Верьте искренности чувств душевно преданного вам

М. Глинки.

М. И. Глинка — А. П. Керн

21 апреля 1841 г. Петербург

21 апреля

Прилагаю билет на мою оперу; благоволите не упустить им воспользоваться, так как меня живо интересует знать, ка-

кое впечатление произведет на вас это произведение. Что касается меня, то я досадую, что должен отказаться от счастия сопровождать вас, ибо мои страдания еще слишком сильны, а театр отличается от всех других мест тем, что там легче всего простужаются.

Имеете ли вы известия от своих? Здоровы ли они? — прошу словечка ответа по этому поводу.

Дело моей жены находится определенно в синоде,— вскорости я буду знать, что с ним. Весьма возможно, что все устроится и без каких-либо выступлений с моей стороны, — поскольку в деле замешан военный, невозможно, чтобы император не был об этом осведомлен. Итак, потерпим и будем надеяться.

Пусть мое бедное произведение даст вам хоть несколько минут удовольствия, слушая его, подумайте немного о вашем всецело преданном слуге и друге

М. Глинки.

Ее превосходительству г-же Керн.

М. И. Глинка — А. П. Керн

2 июня 1841 г. Петербург

2 июня. С.-Петербург

Въехав сюда, я приказал остановиться возле дома Серапина, воображая застать вас еще в Петербурге, но мне сказали, что за три дни до моего приезда вы уехали. Если это известие огорчило меня для меня собственно, то вместе с тем порадовался за вас и ваше милое семейство. Это письмо, вероятно, застанет вас уже на месте, дай бог, чтобы ваше путешествие было столь успешно и благополучно, как и мое. О себе писать не стану, вам сообщат все, что бы я мог сам сказать вам, равно как и то, что дело мое идет хорошо, но не так скоро, как бы желать надлежало, и что я имею более

нежели надежду видеть вас в августе, хотя дело протянется, вероятно, до зимы.

Хотя это письмо отправится на почту только послезавтра, но я решился писать к вам сегодня, предвидя множество дел и хлопот первые дни. Сегодня понедельник, следуя предрассудку, я отложил на этот день все дела и посвятил его отдыху. Я теперь живу на той самой квартире, где жила сестра до отъезда в Париж, — если судьба заставит меня быть зимою в Петербурге, меня услаждает мысль, что матушка с меньшей сестрицей (весьма доброй и милой девушкой), а также и сестра Lisette с племянником и зятем, по возвращении из-за границы зимою сюда приедут — будет с кем душу отводить.

Михаила Петровича я еще не мог видеть, но в самом скором времени непременно с ним повидаюсь. Горю нетерпением знать, кончили ли вы ваше дело с Юсуповой? Получили ли ответ от Адлерберга?

Не поленитесь подробно известить меня о вас, о вашем милом семействе, о вашем чудесном малютке. Как он должен быть мил — еще раз прошу все подробности о вас и ваших. Вы знаете по опыту, сколько они важны для отсутствующих.

На обратном пути в Смоленск я встретился с Корсаком. Приятная варшавская жизнь округлила его формы до неблагопристойно-несоразмерной толщины, а всегдашняя краснота лица просияла, как пурпур. Эта фантастическая наружность, невольно приводящая в смех, возвышается от его странных движений и поговорок, вроде тех, кои вам уже известны. Сверх того, сей господин воображает себя любезным; он исполнил много польских куплетов с аккомпанементом фортепьяно, и мы вместе с ним танцевали кадриль.

Прошу вас передать от меня тысячу приветов Александру Васильевичу и попросить его продолжать писать мне, так как я обещаю ему регулярно отвечать. Сомневаюсь, однако, что я буду в состоянии писать с каждой почтой,— ввиду моих дел; впрочем, это не так необходимо, как тогда, когда вы были в

Петербурге. Тем не менее вы будете иметь новости обо мне регулярно каждую неделю.

Я уверен, что как по собственным вашим чувствам, так и по чувству дружбы, которые вы питали ко мне, вы будете беречь дорогое дитя; воспользуйтесь хорошим временем года, чтобы укрепить ее хрупкое здоровье. Чтобы предохранить вас от скуки, я пошлю вам книг. Купили ли вы три пары чепчиков? Пришлите мне список книг, которые вы желаете иметь. До свиданья, сударыня, будьте счастливы и здоровы,— вы и все ваше драгоценное семейство; не забывайте вашего друга

М. Г.

М. И. Глинка — А. П. Керн

1 июля 1841 г. Петербург[123]

Я счастлив узнать, дорогой и прекрасный друг, что вы уже у себя. Как должно было успокоиться ваше сердце в присутствии всех ваших, после столь же продолжительной, как и тягостной, разлуки. Дай бог, чтобы вам не пришлось более подвергаться подобному испытанию.

Несмотря на обольстительные надежды, которые представляет мне будущее, и на развлечения прекрасного времени года, столь благоприятного для моего здоровья,— сердце мое страдает. Только близ вас и в вашем милом семействе надеюсь я найти утешение и забыть все мои горести. Я одинок, совершенно одинок в настоящую минуту, но одиночество — не единственная причина моих страданий. Я не могу скрыть от вас, что только что пережил живейшую тревогу по поводу здоровья мадемуазель Екатерины. Леченье железистыми ваннами как раз то, которое наиболее противоречит ее

[123] На верху листа рукою А. П. Керн написано: «Это письмо Глинки получено по приезде из С.-Петербурга».

физическим данным. Не буду распространяться, но скажу вам просто, что я потерял моего друга Евгения Штерича именно вследствие подобного лечения, я даже мог наблюдать шаг за шагом роковые последствия лечения, на которое он возлагал такие надежды. Поэтому, во имя всего, что вам дорого, не поднимайте более вопроса об этом пагубном способе лечения; скорее наоборот — нервное состояние вашей дочери может быть улучшено лишь правильным образом жизни, свежим воздухом, диетой, а особенно — душевным спокойствием. Верьте моему долгому и тяжкому опыту.

В течение восьми дней я надеюсь положительно сообщить вам о времени своего приезда. В ожидании же этого благоволите передать мою благодарность вашему отцу за сердечное письмо, которым он почтил меня, и уверить его, что я поспешу лично доказать ему, как сильно растроган вниманьем, которое он изволил мне оказать.

Дело мое идет превосходно, хотя и медленно. Так как оно не может быть закончено ранее зимы, то, по совету тех, кто ведет его, я решил не хлопотать об ускорении его хода, тем более что до настоящего времени судьба была ко мне чрезвычайно благосклонна. Я действую с благоразумием и в то же время не изменяя моим рыцарским чувствам.

Что вы поделываете? Каковы ваши планы? Ваши дела? В конце концов я надеюсь узнать все это от вас самих, так как сомневаюсь, что у вас будет время ответить на эти вопросы ранее моего отъезда отсюда.

Поцелуйте вашего ангела от меня и напомните ему обо мне, равно как и Александру Васильевичу.

Мне нет необходимости просить вас беречь ваше дорогое дитя: ваше прекрасное сердце не является ли моим ходатаем?

Как я ни печален, я страдаю менее, когда пишу вам, и особенно, когда думаю о счастии увидеть вас скоро. Прощайте, добрый и прекрасный друг, будьте счастливы и думайте иногда о вашем бедном друге.

М. И. Глинка — А. П. Керн (Марковой-Виноградской)

1 февраля 1856 г. Петербург

1 февраля 1856 года.

Любезнейшая и многоуважаемая Анна Петровна!

Получив письмо ваше и главу из романа вашего перевода, я не отвечал вам потому, что по старой глупой привычке хворал, и потому не гневайтесь на меня.

Перевод ваш мне кажется очень натуральным, что, по-моему, весьма недурно, и, хотя я не знахарь в литературе (в особенности новейшей, которую вовсе не люблю), но полагаю, что переводы ваши могут занять не последнее место между другими, появляющимися у нас теперь.

Так, например, с января нынешнего года выходит периодическое издание под заглавием: Собрание иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык. С.-Петербург, в типографии *Королева и комп.*

Имени редактора не означено. Советую справиться о том в означенной типографии, может быть, ваш перевод повести: *Не шути с горем* и другие ваши переводы примут в это издание.

Уже более пяти лет, как здесь и за границей я решительно отказался от света. Все мои связи с литераторами разорваны; осталось только довольно дружеское отношение к Краевскому, и я должен побывать у него. При свидании попрошу о том, чтобы он принял ваши переводы и дал вам постоянную работу. За успех заранее отвечать не могу. Краевский с норовом и несколько педант.

Несмотря на желание видеть вас и ваших, не могу еще назначить вам вечера. Нет еще ответа от Бартеневой по

известному вам делу, а сверх того, я еще не совершенно освободился от простуды.

Поручаю себя вам и вашему мужу, в надежде скорого свидания остаюсь всею душою ваш

Михаил Глинка.

Екатерине Ермолаевне мой усердный поклон.

Сестра Марья Ивановна поручает мне вам усердно кланяться и просит, чтобы вы доставили мне адрес Екатерины Ермолаевны.

Из писем А. П. Керн (Марковой-Виноградской) к Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной) и А. А. Бакунину

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной)

12 августа 1850 г. Сосницы

Долго мы с мужем тосковали о мечте жить и служить в Торжке! Почти было решено, что нельзя нам подняться; дорого будет стоить... и все одолжаться!? это страшно мучительно! Притом же, говорят, по выборам иначе служить нельзя, как надо иметь свою собственность, хоть маленькую, в том уезде. Потом, подумай ты сама: если нам здесь трудно прожить, т. е. *промаяться,* 700 р. в год, то там еще труднее будет; там все дороже, здесь же у нас хлеб, соль, дрова и все овощи зимой и летом не покупные. Главное — проезд! Обсуди все хорошенько. Я бы пространно так не толковала об этом, если бы очень не хотелось! Напиши, моя душечка, обо всем подробно брату, потолкуй со всеми и пусть общий совет решит. Мне — страшно! Je suis une bête d'habitude[124]: я так люблю не двигаться с места, мне так хорош кажется наш уголок иногда — когда мы одни здесь или с тобою были! Мне будет досадно на тебя, что ты нас заставила мечтать понапрасну. Я заметила сегодня разницу в письмах наших; муж говорит, что ты *не дописываешь* своих мыслей, а я нахожу, что я *переписываю.* On sait à quoi s'en tenir avec moi[125]. Вот если бы дядюшка Константин Маркович на меня обратил милостивое внимание; или если б что-нибудь вышло из наших писем с тобою к Татьяне Борисовне: смело бы можно ехать. Если б выбрали хоть в заседатели!

---

[124] Здесь: Я домоседка (фр.).

[125] Здесь: Имея дело со мной, не приходится ничего домысливать (фр.).

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной)

17 декабря 1850 г. Сосницы

Я не согласна с тобою, что лучше быть первыми в деревне и проч. Я сама так думала в молодости; когда впоследствии удалось заметить, что можно быть не *последнею в Петербурге,* то нашла, что это гораздо приятнее! Я еще думаю, что люди, способные привыкать сильно к чему бы то ни было: к месту или другим людям, способны и любить глубже и постояннее тех, которые сейчас готовы из родного гнезда лететь. Я не люблю таких. Я бы поехала в Петербург для счастья мужа, по службе и выгод его, но мне тяжко, очень тяжко расстаться с родным приютом.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной)

18 декабря 1850 г. Сосницы

Мне тоже не нравится повесть Евгении Тур «Долг»: слишком избитая тема и ничего нового! А что, ты не читаешь «Домби и сына»? В «Современнике» перевод прекрасный и тебе бы напомнило наше общее чтение начало его, так несносно прерываемого милой тетенькой.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной)

17 августа 1851 г. Сосницы

Скажу тебе еще нечто радостное; но так как все радостное неверно и все ожидаемое редко сбывается, то я и боюсь полагаться: мужу обещают дать какое-то значительное имение в опеку; и он будет получать 10 копеек с рубля, что, говорят,

составит 250 рублей серебром в год. Если это сбудется, то можно будет чай пить по утрам и вечерам и иногда кофе. Теперь же, признаюсь тебе, один преферанс поддерживает наше существование.

Я тебе писала или нет, что Василич занимается французским языком? Его Пезаровиус подзадорил; меня это очень радует и даже если на него найдет стих написать повесть, то это поможет ему. Меня же Пезаровиус обещал выучить читать по-польски. Это приятно, чтобы Мицкевича читать в оригинале.

Я сижу теперь одна, вяжу себе чулки и читаю старый, ужасного перевода роман Вальтер-Скотта «Приключения Нигеля». Несмотря на варварский перевод, все-таки интересно.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной)

8 сентября 1851 г. Сосницы

Расскажу тебе еще неудавшийся сюрприз мужу. Я видела, что он не совсем равнодушно по утрам обходится без кофею, и потому сказала ему, когда он взял жалованье за треть вперед для расплаты за печи, и прочее: «А что, не купить ли кофею?» — «Нет, не должно», — сказал он. Я промолчала и потихоньку послала на свои деньги (ты знаешь, что у меня есть свои деньги: 10% его выигрыша) купить ½ фунта; велела изготовить и подать в воскресенье. А он тоже, верно, думал, что мне очень хочется, сегодня утром стал отсчитывать деньги и спросил: «Ты не посылала за кофеем?» Досадно мне было, и я ему призналась довольно неэффектно, что я уже купила и велела изготовить. Нужды нет! Бедность имеет свои радости, и нам всегда хорошо, потому что в нас много любви. За все, за все благодарю моего Господа! Может быть, при лучших обстоятельствах мы были бы менее счастливы.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

9 января 1852 г. Сосницы

Как мне приятно было читать твое описание Премухина. Вот там живут и старые, и малые, и молодые, пока Господь не призовет чистые и праведные души в лоно свое!

В конце царствования Александра вошла в моду любовь супружеская и семейные добродетели, в начале царствования Николая она еще поддерживалась, а теперь, говорят, маскарадные удовольствия вытеснили все! La famille Impériale, jeunes et vieux, donnent l'exemple non seulement de legereté, mais de la dissolution des moeurs la plus parfaite[126].

Мне иногда хочется сильно умереть. Я думаю, что тогда Василич был бы свободен, бросил Сосницу и уехал к вам — там и служить, и жить! В здешнем обществе гибельно вращаться, а вовсе от него отказаться — мудрено.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

13 февраля 1852 г. Сосницы

Я читала Шерля, хоть и без 1-й части; мне в ней только нравится — подробности семейной жизни англичан, весь же роман растянут и вял. Какая разница— Копперфильд! Всякая глава — и наслаждение, и поучение! К тому же, перевод очень дурен. Вот мне понравился Пенденнис, которого я прочла 1-ю часть. Пропасть юмору и тонких наблюдений! Теперь еще читаем «Современник» за январь, где прекрасная повесть

---

[126] Императорское семейство, молодые и старые, подают пример не только легкомыслия, но и полнейшего развращения нравов (фр.).

Панаева. Начало очень мило, я люблю Панаева. Читала ли ты повесть Авдеева «Иванов»? Удивительно хорош язык и характеры.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

25 марша 1852 г. Сосницы

Теперь мы читаем Пенденниса Теккерея. Я нахожу, что это гораздо занимательнее Шерла; и мужу тоже очень нравится. Характеры так развиваются исподволь, как в жизни; и пропасть милых подробностей, как во всех английских романах. Прочитайте и вы его: это в «Библиотеке».

Добровольский, которого перевели из Стрелкового батальона в 1-й Московский корпус... обещал нам... узнать, в какое заведение пристроить Сашу... Василич хочет его определить в Межевой Институт, если б это было возможно — на казенный счет ... Я боюсь корпусов и не люблю офицерства, из которых $^{9}/_{10}$ всегда пошлость, кутилы, хорошие товарищи (т. е. пустые люди) и лентяи. Удивляюсь маменькам, которые радуются офицерским эполетам.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

28 марта 1852 г. Сосницы

Привези нам посмотреть картины, что тебе подарил Петр Сергеевич. На меня живопись больше действует, чем музыка. Ученую музыку я не понимаю, а живопись чувствую и наслаждения от нее выше всего, мною испытанного.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

3 апреля 1852 г. Сосницы

1-й день Пасхи мы обедали у Тетушки запросто, а 2-й — храмовой наш праздник — она опять просила и нас, и Полторацких. Вследствие чего я не обошлась без embarras gastrique[127], несмотря на всевозможную воздержность и вспоминая Дельвига стихи:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла и яиц гнилых, —
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.

На 3-й день мы великолепно и вкусно отобедали у Полторацких, а вчера — у Ник. Вас. Полт-го. Все было хорошо, да ветчина сама приползла из кухни.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

13 апреля 1852 г. Сосницы

Я вам завидую, что вы катали лицами на св. неделе. Маминька моя это очень любила, и в Берново у Дедушки все собирались в большую залу, и дворовые женщины с корзинками являлись, это было очень весело. У меня много приятных воспоминаний моего детства!

Джонсон говорит о браке: «Вступая в брак усильте наблюдение над самим собою, не упускайте из виду малейших предметов домашней жизни». Юнг сказал памятные слова: «Из песчинок составлены горы, и год состоит из ми-

---

[127] Расстройства желудка (фр.).

нут», — и эта мысль пусть руководит вами в вашем новом положении. Он еще говорит: «Если бы женщины понимали, что нужно стараться всегда нравиться своему мужу, — их мужья вели бы себя лучше; некоторые из мужей единственно потому изменяют своему долгу, что жены их не стараются поддерживать в них супружеской привязанности».

Я перечитывала на днях «Вексфильдский Священник», а Василия теперь читает, и очень ему нравится.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

16 апреля 1852 г. Сосницы

Вчера вечером мы прочитали в «Новоселье» повесть Брамбеуса «Счастливец». Гарун Аль-Рашид заболел и когда, по многократном лечении несколькими медиками, болезнь, усилившаяся от лечений, оказалась неизлечимою, какой-то пустынник посоветовал надеть рубаху счастливейшего человека; стали искать и когда, наконец, отыскали человека, утверждающего, что он считает себя счастливым,— оказалось, что у этого счастливца не было даже и рубахи.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

1 мая 1852 г. Сосницы

Знаешь ли, что я читала эти дни? — «Consuelo» перечитывала и с наслаждением. Вообрази, что Альберт мне кажется таким точно, как твой муж и еще больше на него похож, чем ты на Consuelo de méalmo. Я читала и переводила Василичу (он перестал заниматься французским языком). Я нахожу, что есть глубокая мысль в lux Rudolstadt в особенности и прошу вас — тебя и Альберта Бакунина — вместе перечитать... Мне смешно, когда поверхностные судители говорят, что она безнравственна, что она против браку! Может ли быть что более

нравственное, как идея, которою проникнуто это создание, мысли его о браке и любви супружеской? Понимаю, отчего тетушке Татьяне Петровне нравилась больше 1-я часть: она, бедная, не знала любви в браке и усмиряла стремление или отрешение себя от оной мелкими доводами о своем семействе.

Скажи почтенному Александру Михайловичу, что я его помню, когда он после свадьбы приезжал в Берново, и мы любовались детьми, умению его жить и любить свою жену. Она была молодая, веселая, резвая девушка; он — серьезный, степенный человек, и, однако, на них было приятно смотреть. Я помню их сидящими дружно рядом, когда он ее кругом обнимет своими длинными руками, и в выражении ее лица видно было, как она довольна этой любовью и покровительством. Иногда она его положит на полу и прыгает через него, как резвый котенок. Его положение тогда не было ни странно, ни смешно. И тут являлась с любовью покоряющая сила и доброта — идеал доброты! Помню еще раз бальный вечер; они сошлись в нашей общей комнате с маминькой; он лежал на ее кровати, она, в белом воздушном платье, прилегла подле него, и как он шутя уверял ее, что кольцо, надетое на его палец, не скинется, врастет в него; она беспокоилась, снимала его, велела подать воды, мыла, а он улыбался, и, наконец, успокоил ее, что это была шутка. И все такая любовь, во всем — ив мелочах! Спроси у него, помнит ли и он меня? Это мудренее. Видишь, как дети совсем не так бессмысленно смотрят на все их окружающее, чем иные думают. Мне тогда было 10 лет, я замечала, однакож, ощущала и наблюдала! Как я люблю воспоминания моего детства в Бернове! Над всем этим парит мой благодатный гений Дедушка, идеал кротости, любви и милосердия. Не странно ли это (я сознаю это теперь), что я тогда всех понимала, как нельзя лучше, как теперь о них сужу и понимаю. Тетушка, являющаяся туда изредка из Грузин, — и ту я тогда поймала точно так, как теперь. О! дети бывают очень разумны; жаль, что мало их — то понимают, мало разговаривают с ними!

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

23 июня 1852 г. Сосницы

Я получила письмо от дочери, она и какой-то г. Шокальский просят моего благословения. Я обрадовалась и заплакала.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

15 июля 1852 г. Сосницы

Разве вам не нравится Пенденнис? Я его еще не кончила, нахожу, что есть таки длинноты, но и подробности преинтересные. *А Матушка Пена, не находишь ли, что на меня немножко похожа?* А дядя майор?

Василия пишет теперь какую-то ученую статью о литературе Греков и Римлян. Молю Бога, чтоб он решился что-нибудь написать для печати.

Il n'ya que le premier pas qui conte en cela surtout Nous voyans tous le jours à quel point les premiers essais de nes litterateurs les plus célèbres sont faibles en comparaison de ceux qui suivent. C'est alors que j'eusse pu me dire parfatement heureuse et contente de mon sort, si notre bien — être pauvait m'être assuré por, notre travaié; je dis *notre,* car j'y aurai aidé de tous mes moyens tontêt par tradure, tantêt par copier. Si Sacha étudie bien, je desire lui inspirer l'amour de la littéerature et peut être que mon veuxle plus clier se réalisera en lui![128]

---

[128] Важно лишь начать, особенно в этой области. Мы видим каждый день, до чего первые пробы пера самых прославленых наших литераторов слабы по срашеншо с последующими их сочинениями. Я тогда лишь почувствовала бы себя полностью счастливой и довольной своей участью, если бы благополучие наше могло бы быть мне обеспеченным нашей работой — говорю *нашей*, ибо помогала 6ы изо всех моих сил то переводами, то переписыванием. Если Саша хорошо будет учиться. я хочу внушить ему любовь, к литературе и быть может, моя самая дорогая мечта осуществится в нем!

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

7 августа 1852 г. Сосницы

Бог послал нам случай обрадовать себя и вас: послал доброго человека, который берет с собою мужа до Москвы; а там он сядет в вагон, и вы его увидите! Грешно было упускать такой случай; а как Саше тоже до смерти хотелось съездить к вам, то и его берут. Я забываю о себе, от одной мысли, какую радость тебе принесет свидание это.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

20 августа 1852 г. Сосницы

Я сейчас прочитала мысль Eug Sue, очень справедливую: «Les enfants ue se trompent jamais sur les sentiments et sur les caracteres de ceux qui les entourent». «Leur pénétration confend; quand ils se voyent aimés, ils savent avec une incroyable habi leté assurer bur empire»[129]. Я всегда вспоминаю, что в детстве я не любила ни Пелагею Петровну, ни Анну Ивановну и меньше всех их — Федосью Петровну... Я полагаю, что если б Василич решился писать, то мог бы презанимательную повесть написать из нашей жизни, à l'instar de[130]. Копперфильд. Сколько эпизодов занимательных нашлось бы, сколько анекдотов метких! Авось он решится. Напр., не забавно ли это. При мне Анютка собрала все яблоки, какие были, я сама назначила, какие посолить и которые так оставить: разумеется, ей обо

---

[129] Эжен Сю... Дети никогда не ошибаются относительно чувств и характеров тех, кто их окружает. Проницательность их поражает, когда они чувствуют себя любимыми, они умеют с невероятной ловкостью установить свое господство (фр.).

[130] Наподобие (фр.).

всем доложили. Она зовет гостей и приказывает при них идти на базар купить *яблочков каких-нибудь.* Анютка подает свои, что ей и приказано по секрету. Это было сделано потому, что тут были гости, новый заседатель, у которого есть фрукты в саду. К тому же, если она покупает на базаре, то я не имею права себе попросить. Cela s'appelle faire d'une pierre deux coups[131] или «умом жить», как она выражается.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

28 августа 1852 г. Сосницы

Я осталась < после отъезда мужа> больная совсем, а уж какая грустная, ты себе этого и представить не можешь. Пока я их знала в дороге, я мучилась несказанно и боялась ужасно. ...Я не переставала томиться и беспокоиться, пока не получила письма из Митина.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

16 сентября 1852 г. Сосницы

Я слышала, что брат Александр осуждает меня за то, что я осуждаю. Мне бы хотелось ему растолковать себя и род моих осуждений! Во-первых, я осуждаю, т. е. делаю критический разбор, анализирую все и всяческое. Мне кажется, что я это делаю без желчи и совершенно логически. М-м де Сталь говорила, что она «осуждает и родных и друзей, но желала бы, чтобы ее любили только те, которых она осуждает, как она их любит». Рассмотрите, пожалуйста, отчего происходит отсутствие всякого осуждения? Разберите беспристрастно, и вы увидите, что оно происходит более или менее от эгоизма. «Egoïste, c. àd. un homme de bonne compagnie», кажется, это

---

[131] Это называется одним выстрелом убить двуз зайцев (фр.).

сказал Custin[132]. Во-вторых, я осуждаю горячо только тех, которых сильно люблю или — любила. Подозреваю, что в последнем случае это бывает не без примеси желчи, т. е. боли в сердце. Вот вы меня теперь осудили за мое осуждение, но осудили хладнокровно, потому что не знаете меня и не сильно любите: если бы знали и горячо любили, то осудили бы горячо и с раздражением, а может быть и вовсе не осудили бы, потому что захотели бы рассмотреть поближе причины. Есть обстоятельства и мелкие неудовольствия жизни, которые *ни в сказке сказать, ни пером описать,* и надо это все рассмотреть слишком близко и с большим участием, чтобы верно судить. Например, если я убедилась, что человек для самой малейшей *своей* материальной выгоды готов жертвовать счастьем и спокойствием своего ближнего, как же мне не осудить действий такого человека и *как такой* человек может быть приятен? Когда подобные действия повторяются и проявляются во всех мелочах повседневной жизни и тяготеют над всеми нашими движениями и даже помыслами? [...]

Je suis juste avant tout et rien ne me boubverse taut quand on ne l'est pas vis-a-vis de moi...[133] Знаете что? Когда я выходила замуж, мне *назначили* в приданое по моему выбору: имение в Тверской губернии, принадлежащее матери моей, и ее приданое. Я не плакала, когда его отняли! Потом бабушка Агафоклея Александровна дала нам 50 тысяч и Кушниково, — я опять не тужила, когда отец отнял. Такая уж натура была глупая! Вещей тысяч на 15 прокутили моих и Батюшка и муж покойный, я и не охнула, а когда отправляли Дедушку на время к Анне Ивановне, я горько заплакала и все время тосковала и приписывала все свои и горести, и неудачи именно этому. А Тетушка 20 лет его не спрашивала, — и не тужила!

---

[132] Эгоист, т. е. человек воспитанный. Кюстин — французский путешественник.

[133] Я прежде всего справедлива, и ничто так не выводит меня из себя, как несправедливость по отношению ко мне (фр.).

Так мой Дедушка скоро ко мне приедет? Как я ему буду рада! Я не знаю человека добрее, кроме него; какое божественное, благоговейное воспоминание! Ты права, мой ангел сестра, что не надо иметь портретов: это предрассудок, которому не придерживаюсь нисколько... Напиши мне, душечка моя, про Михаила — что он? нет ли надежды на спасение? ограничено ли время его заточения? Как он себя чувствует? И почему не позволено видеться?

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

30 сентября 1852 г. Сосницы

...Мне бы самой хотелось разбогатеть *для штуки!* для счастья богатства мне не нужно: я и так очень, очень счастлива и за все благодарю Бога, но *для штуки* я говорю потому, что очень бы хотелось посмотреть некоторые физиономии *тогда!*

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — А. А. Бакунину

25 ноября 1852 г. Сосницы

Благодарю вас, мой добрый брат, за ваши труды. Портрет очень похож и прекрасно сделан. Один мой глаз мог только отличить его от подлинника. Завидный талант у вас, один, к которому я всей душой всегда сочувствовала. Например, трудной, ученой музыки я не понимаю, а к живописи я всегда была чрезвычайно чувствительна, и портретная была мне более всего по сердцу. Это может быть потому, что я несколько физиономист. В Петербурге, где я вела жизнь довольно уединенную и по вкусу, и по средствам своим,— когда отпирались двери Академии художеств, я не пропускала ни одного дня.

Мне сказывал муж, что вы, Александр, находите, что Тетушка А<нна> Ив<ановна> имеет более моего прав на портрет

Дедушки? Мне хотелось бы вам доказать, что вы ошибаетесь. Вот видите ли, если бы она имела эти права, то она давно бы его вытребовала от отца, который вовсе не дорожил им, а я знаю, что она этого не сделала. Мать моя скончалась в 1832 году, десять лет он пробыл у отца и вот уже почти столько, как я его взяла к себе. Тетушка, не переписываясь со мною и вообще не оказывая мне никогда никакого участия, написала мне письмо, наполненное ласки и лести, в котором просит прислать ей взглянуть на него и показать детям своим, которые его не знали. Я это исполнила с рвением великодушия и поручила его Лизе, которая обязалась мне его возвратить непременно. Напиши она мне прямо, благородно: «отдай мне его, я требую и тебе его возвращу после моей смерти»,— я бы не осмелилась отказать, но приняла бы свои меры сделать для нее копию; и я вам ручаюсь, что 70-ти летняя женщина, которая 40 лет его не видела, была бы довольна, если бы даже копия была гораздо ниже вашей, которая — совершенство.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

13 апреля 1853 г. Сосницы

Я читаю (в очень плохом переводе) «Семейство Какстонов», и очень мне это нравится. Перечитывать буду еще с Васильичем. До смерти люблю Английские романы и их комфорт, и их семейную жизнь, и их дельный ум.

Письма А. П. Керн (Марковой-Виноградской) к П. В. Анненкову и П. В. Анненкова к А. П. Керн (Марковой-Виноградской)

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — П. В. Анненкову

Апрель — май 1859 г. Петербург

Милостивый государь Павел Васильевич.

Мне захотелось воспользоваться вашим позволением к вам писать, чтоб сообщить вам о появлении нашей статьи и еще раз выразить вам мою благодарность. Вы не можете себе представить, как мне было отрадно, что это сделалось чрез ваше посредничество, — и вы не поверите, скольких неприятных волнений вы меня избавили. Я узнала о появлении статьи чрез г-на Тютчева, который сказал об этом мужу и весьма лестно об ней отозвался.

Больше я ни от кого ничего не слыхала; но для меня так много значит похвала Тютчева, что больше ничего не нужно!

Я сама, однако, недовольна многим, но не редактором и не вами, а своей леностью и доверчивостью к г-же Пучковой, которая, во-первых, мне обещала непременно ее поместить, а потом возвратила, чтобы я сама о ней хлопотала, что мне было так антипатично, что я даже не заглянула в рукопись до счастливого мгновения вручить ее вам.

Вот что мне не нравится: в самом 1-м параграфе на 1-й странице: «меня увезли из дома дедушки в 12-м, а в 16-м выдали замуж за генерала». — Я последнее просила вычеркнуть, понимаете для чего? Я нахожу, что так лучше, и не так щекотливо, и не так очень уж ясно и проч. и проч. Об этом генерале довольно сказано дальше; оно и так многим глаза колет... Ну, да это, конечно, если перепечатают когда-нибудь особенной брошюрой (чего бы я желала), то попрошу, чтобы

это исправили и еще кое-что недосмотренное при переписке писем, напр.: «Mes respects (кажется) à Ермолаю Федоровичу. Mes compliments à Monsieur Woulf (à Alexis), они напечатали: à M-me Woulf, il n'y avait alors chez moi que les m-lles Woulf — leur mère était M-me Ossipoff — la phrase n'est pas exacte, et puis le sel n'y est plus! Vous comprenez?

A propos de M-me Ossipoff je puis vous anonncer qu'elle n'est plus la pauvre femme depuis le 8 avril le mercredi de la Semaine Sainte elle a cessé d'exister; les derniers moments ont été fort tristes; et moi — j'en ai pleuré et prié de toute mon âme![134]

Мне кажется, я была одна из самых ее близких, которая с любовью ее вспомянула и опечалилась глубоко ее печальной смертью и печальным остатком жизни.

Вы когда-то у меня спросили: «что такое была Прасковья Александровна Осипова». Мне кажется, я теперь вот могу это сказать почти безошибочно. С тех пор как она скончалась, я долго об ней думала, и она мне теперь ясно нарисовалась. Это была далеко не пошлая личность — будьте уверены, и я очень понимаю снисходительность и нежность к ней Пушкина. Я вам только скажу о ней два факта, которые тотчас вызовут вашу симпатию.

Их было две сестры; не знаю, каких лет они лишились матери, но знаю, что они росли и воспитывались под надзором строгого и своенравного отца, г-на Вындомского. Сестра ее, увлеченная сердцем, вышла против желания отца за Ганнибала (отсюда я полагаю их сближение с семейством Пушкина); она, то есть сестра Прасковьи Александровны, бежала

---

[134] Передайте мое почтение... Привет господину Вульфу (Алексею)... госпоже Вульф, но у меня в то время были только девицы Вульф, дочери г-жи Осиповой, — так что эта фраза неверна и к тому же здесь пропала вся соль! Вы меня понимаете?

Кстати, относительно г-жи Осиповой. Могу сообщить вам, что ее уже нет больше на свете, бедняжка скончалась 8 апреля, в среду, на Святой неделе; минуты прощания были очень печальны, я плакала и от души за нее молилась!.. (фр.).

из дома родительского. Отец ее не мог простить и лишил наследства, отдав все Прасковье Александровне, тогда Вульф; после смерти отца Прасковья Александровна разделила имение (состоявшее из 1200 душ) на две равные части и поделилась им с сестрою. Скажите: многие ли бы это сделали?? У Прасковьи Александровны тогда было пятеро детей, у той — только двое. Я лично этому не удивляюсь, но жизненный опыт мне доказал, что многие могут удивляться. Второе — то, что она, которая жила в среде необразованной вовсе или, что еще хуже, полуобразованной и имея старшего сына (Алексея), записанного пажом (по протекции, я полагаю, Петра Ивановича Вульфа, который тогда служил при дворе кавалером при великих князьях Николае Павловиче и Михаиле Павловиче), она пожелала и осуществила свое желание, отдав сына в Дерптский университет.

Это было во время моего там пребывания. Я, признаюсь вам, после смерти сестры, мною горячо любимой, очень желала содействовать примирению матери и сына, в память сестры Анны Николаевны, которая этого весьма желала и меня просила употребить мое влияние на Алексея. Но — они оба зашли очень далеко,— и мое заочное влияние было бессильно при других... недоброжелательных. Каково все поколение, происшедшее от г-на Осипова, и его собственная дочь, та самая Алина, к которой относятся нежные стихи Александра Сергеевича. Не помню начала, но вы, верно, помните между проч.:

За все мучения наградой —
Мне ваша бледная рука...

Я писала к Алексею вскоре после смерти его сестры, но — безуспешно, потом говорила ему кое-что — именно об этом факте, что его мать не без заслуг перед ним, — по крайней мере за то, что пожелала дать ему университетское образование, а не то, к которому он был присужден судьбою. Он

отвечал мне легко: «Это потому, что ты (я) тогда жила в Дерпте». Конечно, последнее время она была очень и очень виновата против брата, но мне жаль, мне грустно, что его раздражали только еще больше против нее и ни у кого из них не нашлось настолько чувства и христианства, чтобы ее извинить и их сблизить! Почем он знает, что ее также не вооружали против него?.. Я ей писала, но что значит письмо, когда так много вблизи вредного и постоянного влияния?.. Если б я могла к ней поехать, иначе бы было; но я не имела ни времени, ни средств; а они все, конечно, этого не желали.

Странное дело, она меня всегда любила: и в детстве, и в молодости, и в зрелом возрасте, несмотря на то что от бесхарактерности делала вред, почти что положительное зло. Я тогда сердилась на нее, но всегда потом ей прощала; она была так ласкова, так нежна со мною, как никто из моих близких, ни одна из моих родных теток!

Растолкуйте, например, эту странность: она была очень строга в детстве с Анной Николаевной. Мне рассказывали (то есть не мне, а при мне, что все равно,— дети все записывают на своих памятных скрижалях), что она была даже жестока с нею ребенком. Била ее (когда учила, весьма бестолково, надо сознаться, учила), драла за уши до крови и проч. и проч. Вообразите, что она при мне этого никогда не делала! Что ж такое была я для нее? Девочка одних лет с ее дочерью. И — боялась ли она меня встревожить таким обращением с сестрою, которую я, при первой нашей встрече, принялась любить изо всех сил. Она также, и я до сих пор не встречала детей и молодых особ, так привязанных друг к другу, как мы с Анной Николаевной.

Когда мы съехались в Берново, нам было по восьми лет, и пока не приехала ожидаемая гувернантка, мы учились у своих матерей. Иногда Прасковья Александровна меня к себе брала ночевать, и я с радостью вставала зимою со свечою, оттого что так будили Анну Николаевну, и мы с нею вместе учили уроки

и пили: я — чай, а она смородину у пылающего камина, очень весело и дружелюбно. Никогда, повторяю, она не кричала на нее и не била свою дочь при мне. Это — факт. Не отсюда ли зародыш привязанности нашей, и особенно со стороны сестры. Она была любящая тоже, но в ней было меньше элементов глубоких чувств,— потому я не всегда была ими довольна. Впрочем, Euphrosine[135] мне сказала, когда я после ее смерти выразил при встрече с нею это сомнение: «Elle n'a aimé de sa vie personne autant que V[ous]! Vous étiez son idéal![136]

Но обратимся к Прасковье Александровне, которую мне хочется дорисовать вам так, как она теперь представляется мне и в Бернове в детстве и после.

Когда нас отдали на руки гувернантке m-lle Benoit (тоже знаменитость в своем роде: она была привезена по требованию двора из Англии вместе с m-lle de Sybourg тоже швейцаркой, которой предложила вместо себя занять место при ее высочестве Анне Павловне, а сама ограничилась скромным званием деревенской воспитательницы в провинции), то мы опять вместе и учились, и спальню имели общую подле комнаты m-lle Benoit. Когда же случалось, что я заболевала, то уходила во флигель и переписывалась с Анной Николаевной. Кстати вспомнить, что она сохранила мои записочки десятилетнего возраста и показывала их мне, когда я к ней приехала замужняя.

И так мне рисуется Прасковья Александровна в те времена. Не хорошенькою, — она, кажется, никогда не была хороша, — рост ниже среднего, гораздо, впрочем, в размерах, и стан выточенный, кругленький, очень приятный; лицо продолговатое, довольно умное (Алексей на нее похож); нос прекрасной формы; волосы каштановые, мягкие, тонкие, шелковые; глаза добрые, карие, но не блестящие; рот ее только не нравился никому: он был не очень велик и не

---

[135] Евпраксия (фр.).

[136] Никого на свете она так не любила, как Вас! Вы были ее идеалом! (фр.).

неприятен особенно, но нижняя губа так выдавалась, что это ее портило. Я полагаю, что она была бы просто маленькая красавица, если бы не этот рот. Отсюда раздражительность характера.

Она являлась всегда приятно и поэтически. То приходила читать у нас что-нибудь (если позволяла m-lle Benoit), то учиться по-английски вместе с нами. Она была очень любознательна, — и как же, скажите, ей теперь это не вменить в достоинство? Ведь этому, без одного года, пятьдесят лет!! Иногда она приходила показать нам какой-нибудь наряд, выписанный ей дядюшкой Николаем Ивановичем Вульфом или им привезенный из Петербурга. Она мало заботилась о своем туалете, а дядюшка был большой мастер выбирать и покупать. Она только все читала и читала и училась! Она знала языки: французский порядочно и немецкий хорошо, я полагаю. Любимое ее чтение когда-то был Клопшток (кажется, первое время пребывания Пушкина в Михайловском). Согласитесь, что, долго живучи в семье, где только думали покушать, отдохнуть, погулять и опять чего-нибудь покушать (чистая обломовщина!), большое достоинство было женщине каких-нибудь двадцати шести — двадцати семи лет сидеть в классной комнате, слушать, как учатся, и самой читать и учиться.

Ах, я и не заметила, что третий листок кончаю, так увлеклась воспоминаниями детства, а вместе желанием познакомить вас несколько и, может быть, восстановить несколько в вашем воображении портрет, который вы желали.

Простите, ради бога, мою болтливость, и если вы будете так добры, что захотите ответить, то потрудитесь сказать мне, имеют ли намерение перепечатать статью нашу отдельно и дадут ли мне хоть несколько экземпляров для моих друзей.

Еще один вопрос: у меня набросано несколько воспоминаний — о Дельвиге, Веневитинове, Глинке и пр. интересных личностях. Тютчев сказал мужу, что у меня теперь их возьмут. Что вы на это скажете, я от вас хочу знать.

Извините, если прибавлю еще листок, чтоб дорисовать, как смогу и как сумею, мою бедную Прасковью Александровну Осипову.

Последние годы ее жизни доказали, как можно исказить существо бесхарактерное, если за это возьмутся недобрые люди! Она была любящая, поэтическая, любознательная натура, и все это ни к чему хорошему не привело. Ее последние поступки достойны были порицания всех и каждого!.. Да простит ей господь, как и она прощала, если обращались с нежностью прямо к ее сердцу.

Я вам забыла рассказать и в своих Воспоминаниях о Пушкине забыла упомянуть о своем вторичном посещении тетушки в Тригорском уже с мужем (с Керном). Вы видели из писем Пушкина, что она сердилась на меня за выражение: «Je méprise la mére»[137]. Еще бы!.. Было и за что. Помните?

Керн предложил мне поехать. Я не желала, потому что, во-первых, Пушкин из угождения к ней перестал писать, а она сердилась. Я сказала мужу, что мне неловко поехать к тетушке, когда она сердится. Он, ни в чем никогда не сомневающийся, как следует храброму генералу, объявил, что берет на себя нас примирить. Я согласилась. Он устроил романическую сцену в саду (над которой мы после с Анной Николаевной очень смеялись). Он пошел вперед, оставив меня в экипаже. Я через лес и сад пошла после и — упала в объятия этой милой, смешной, всегда оригинальной маленькой женщины, вышедшей ко мне навстречу в толпе всего семейства. Когда она меня облобызала, тогда все бросились ко мне, Анна Николаевна первая. Пушкина тут не было. Но я его несколько раз видела. Он очень не поладил с мужем, а со мной опять был по-прежнему и даже больше нежен, хотя урывками, боясь всех глаз, на него и на меня обращенных.

---

[137] Я презираю твою мать (фр.).

С тех пор она, приезжая в Петербург (где я постоянно жила, поместивши детей в Смольный монастырь), бывала у меня, даже у меня останавливалась, показывая и доказывая усердие и приязнь неизменяемые. Все говорят: она была сумасшедшая, она была взбалмошная, а никто не скажет ничего в ее оправдание, в извинение хоть.

Отчего это человек так склонен ухватиться за дурное только, а хорошему и похвальному гораздо менее готов отдать справедливость? Исключения весьма редкие.

Еще раз прошу у вас прощения, что так вас обременила своим мараньем и своей докучливой болтовней. Вы привыкли разбирать руки, а также и мысли, вероятно. Мои всегда слишком быстро набегают одна на другую. Я не успеваю писать, а мое неумение их классировать представляет их в хаосе, из которого что-нибудь понять довольно трудно.

Итак, скажите мне — последовать *ли* мне совету Николая Николаевича Тютчева (которого знаю только по словам мужа, а *лично* не имею счастья знать) и написать *ли* мне нечто вроде дополнения к Воспоминаниям о Пушкине, т. е. об нем еще кое-что, о Дельвиге, Веневитинове, Глинке и проч. — Попрошу мужа привести это в порядок и, если позволите, доставлю вам. Я же сама ничего не умею сделать, ничто никогда не переписывала и не перечитывала, и теперь уж не выучиться.

Примите мое усердное и глубочайшее почтение и признательность.

Анна Виноградская[138].

---

[138] Поперек 5-й страницы написано: «А не прислать *ли* этого вам, позволите? Вам преданная и признательная от сердца А. Виноградская. Муж вам свидетельствует свое глубочайшее почтение».

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — П. В. Анненкову

9 июня — 4 июля 1859 г. Петербург

9-е июня 859-го г. С.-Петербург

Я вчера имела счастье, совершенно неожиданно, познакомиться лично с семейством Тютчевых, чего давно, давно пламенно желала. Они были так добры, что обещали доставить письмо к вам, и много мне об вас говорили, совершенно сообразно с тем впечатлением, которое на меня произвело наше знакомство. Очень была бы довольна, если бы с вашей стороны я могла предполагать хоть небольшую часть подобного впечатления. Наше непродолжительное знакомство внушило мне такое глубокое чувство уважения и доверенности к вам, как будто бы я вас знала многие годы; и когда я сказала об этом впечатлении вчера Александре Бальтазаровне, она меня уверила, что мой инстинкт не обманул меня.

17-е июня, утро

Меня прервали, и я до сего дня не нашла времени свободного и расположения продолжать начатое письмо; мне кажется, что я хотела тут прибавить замечательную мысль одной нашей остроумной знакомой, моей современницы в доме Пушкиных — графини Ивелич (мы все ее звали Катериной Марковичем Ивелич).

Она говорила: «Антипатия гораздо более способна вызвать отзвук, нежели симпатия». Это очень верно, не правда ли? Неприязнь к кому-либо инстинктивно вызывает у предмета ее ответную неприязнь, между тем как любовь нередко испытываешь к тому, кто никогда на нее не ответит. Смею надеяться, что нас с вами это не касается, ибо я искренно, от всей души, желаю, чтобы вы относились ко мне хоть немного дружественно.

Вернемся, однако, к нашим баранам, вернее к тому маленькому робкому барашку, которого вы были так добры взять под свое покровительство и ввести в литературу. Как хорошо, что благодаря своей настойчивости я все же добилась встречи с Вами, но я не могу (говоря между нами) простить м-ль Пучковой того, что она, во-первых, отговорила меня обратиться прямо к Вам еще в ноябре, во-вторых, позволила одно из писем Пушкина взять г-ну Геннади, который в настоящее время неизвестно где находится, и еще того, что она внушила мне необоснованные надежды и пр. и пр. Сержусь я на нее и за то, что она исключила некоторые очень характерные анекдоты, которые я добавила и которые очень кстати бы пришлись. Прежде всего вот этот: «Тетушка Прасковья Александровна сказала ему однажды: «Что уж такого умного в стихах «Ах, тетушка, ах, Анна Львовна»?», а Пушкин на это ответил такой оригинальной и такой характерной для него фразой: «Надеюсь, сударыня, что мне и барону Дельвигу дозволяется не всегда быть умными». А еще я вспомнила одно словечко Крылова. Однажды он уснул в самый разгар литературной беседы. Разговор продолжался под храп баснописца. Но тут спор зашел о Пушкине и его таланте, и собеседники захотели тотчас же узнать мнение Крылова на сей счет; они без стеснения разбудили его и спросили: «Ив. Андреевич, что такое Пушкин?» — «Гений!» — проговорил быстро спросонья Крылов и опять уснул.

Я еще вспомнила несколько литературных суждений, которые мне удалось слышать от Александра Сергеевича. Он любил и восхищался стихотворениями Евгения Абрамовича Баратынского; после Дельвига он, кажется, больше всех любил Евгения Баратынского как человека и как поэта! Баратынский присылал Дельвигу свои произведения, и они до напечатания читались в присутствии Пушкина. Он с чувством их прослушивал и всегда восхищался.

Тут же вспоминал о своем впечатлении — в Одессе — при получении романса барона Дельвига «Прекрасный день,

счастливый день, и Солнце и Любовь!». Там певал его Яковлев, лицеист тоже, очень приятным голосом и с прекрасной методой.

Кстати, о музыке. Мне хочется написать свои Воспоминания о Глинке, которого я знала в это самое время, и по некоторым сближениям его с Дельвигом, семейством Пушкиных эти подробности могут иметь интерес. Если позволите, я вам сообщу, а вы мне скажите, могу ли я кому-нибудь из господ журналистов это предложить. Я коротко знала его, очень любила и — жалела впоследствии, еще больше восхищалась всегда его музыкальным талантом и некогда блестящим, изумительным исполнением его импровизаций на фортепиано.

Теперь позвольте мне попросить у вас тысячу извинений за это неразборчивое маранье, болтовню нескончаемую и докучливость мою.

Я не успела написать вам с семейством Тютчевых, хотя Констанция Петровна обязательно предлагала вам его доставить. Вы увидите Николая Николаевича Тютчева, который имеет какое-то поручение в Симбирске — возьмите на себя труд засвидетельствовать ему наше почтение и глубокую преданность. Я привыкла его считать нашим провидением, и мне всегда грустно (хоть я его лично еще не знаю), когда я услышу, что он уезжает! Так было, когда он ехал за границу прошлого года. Так живо передал мне муж впечатление первого знакомства с ним. Это он (Николай Николаевич) виноват, что я теперь посягаю на ваше терпение и намереваюсь вас обеспокоить новыми воспоминаниями!

Примите выражение моего душевного уважения и преданности, с которыми всегда буду ваша усердно почитающая и искренняя слуга.

Анна Виноградская.
4-е июля! Вот как!

NB:

Я на днях видела брата Алексея Вульфа, который сообщил мне странную особенность предсмертного единственного распоряжения своей матери, Прасковьи Александровны Осиповой. Она уничтожила всю переписку с своим семейством: после нее не нашли ни одной записочки ни одного из ее мужей, ни одного из детей!.. Нашли только все письма Александра Сергеевича Пушкина.

Не сердитесь на меня за мое маранье и бестолковое письмо. Муж не хотел, чтоб я вас им обеспокоила, но переписывать я никогда не умела, а мне хотелось, до смерти хотелось побеседовать с вами. Не сердитесь же на меня и приезжайте скорее.

Мы переменили квартиру. Теперь живем на Знаменской, на углу Итальянской, в доме Казакова, No 59-й по Итальянской и 19-й по Знаменской. Напишите словечко, чтоб я не боялась, что вы сердитесь за мою докучливость.

Муж свидетельствует свое душевное почтение.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — П. В. Анненкову

1860 г. Петербург

Простите, что я беру на себя смелость присовокупить к сему кое-что из личной переписки, только для образца. Если вы возьмете на себя труд взглянуть на одни только автографы, среди коих есть весьма ценные, Вы убедитесь в справедливости моих рассказов — и это сможет возместить недостаточную связность и последовательность моих воспоминаний, которыми Вы, по исключительной доброте своей, заинтересовались.

Если Вам удастся что-то сделать с присланными мною прежде *«Воспоминаниями о Пушкине», я* бы покорно Вас просила включить эту музыкальную фразу туда, где ей и надлежит быть — в рукописи № 1. Признаюсь Вам, что мне это очень важно... Думаю, что это произведет впечатление. Фраза Александра Сергеевича.

Сердечно Вам кланяюсь.

Приношу мильон извинений, что, несмотря на Вашу крайнюю занятость, о которой слышала у *Тютчевых* от *Констанции Петровны,* я позволяю себе затруднить Вас этим беспорядочным ворохом писем. Если бы Вы нашли возможность дать мне знать, что Вы на меня за это не гневаетесь, меня очень бы это обрадовало, а то, по правде говоря, я в большом беспокойстве.

Преданная Вам А. В.

П. В. Анненков — А. П. Керн (Марковой-Виноградской)

28 июля 1859 г., с. Чирсково

Милостивая государыня Анна Петровна!

Доброе и любезное Ваше письмо я получил. Бедная Прасковья Александровна, которую Вы так живо описали,

что, кажется, я будто вижу эту маленькую, круглую, немножко экстравагантную, но сильно-умную женщину — и она отошла к предкам. Современников Пушкина все более и более накопляется по ту сторону жизни; тем более обязанностей лежит на тех, которые остались по сю сторону. Вы пишете, что только от одного лица слышали одобрение (Н. Н. Тютчева) своей статьи; жаль, что Вы не были в Москве во время ее появления. Я там слышал со всех сторон и даже от незнакомых людей, в театре единственный приговор, что — только одна умная женская рука способна так тонко и превосходно набросать историю сношений, где чувство своего достоинства, вместе с желанием нравиться и даже сердечною привязанностью, отливаются разными и всегда изящными чертами, ни разу не оскорбившими ничьего глаза и ничьего чувства, несмотря на то, что иногда слагаются в образы, всего менее монашеского или пуританского свойства. Вы напрасно, по моему мнению, беспокоитесь о слишком резком характере отдельных фраз или выражений. Все это пропадает в общей гармонии целого, которое само по себе, в одно время и очень откровенно и очень благородно, вполне добродушно и вполне прилично. Действительно, так писать могут только женщины, потому что наш брат непременно в каком-нибудь уголку, где потемнее, да переложил бы красок, не удержался бы от эффекта и растушевки. Не понимаю — отчего Вы не получили 10 экземпляров отдельных оттисков Вашей статьи? Я бы попросил г. Виноградского забежать при случае к книгопродавцу Печаткину и спросить от моего имени — куда девались 10 экз., которые были им определены для отсылки к вам, в дом Ронова. Если Вам удастся получить их, то позвольте мне быть челобитчиком перед Вами и домогаться о получении одного из них, с Вашей надписью и из Ваших рук.

Не могу, однако же, обойтись и без критической заметки.

При том верном такте изложения, каким Вы обладаете в высокой степени, Вы действительно сказали менее того, что

могли и должны были сказать. Потому из Вашей записки вышли превосходные «Воспоминания», между тем как из нее должно было, по-доброму, выйти начало замечательных «Мемуаров». Понимаете разницу? Я глубоко обрадовался, узнав из письма Вашего, что у Вас готовы заметки о Дельвиге, Глинке и проч. Это самая счастливая мысль. Заметками этими Вы поставите себя на степень летописца известной эпохи и известного общества и выйдете из роли автора маленькой *исповеди,* которая, как бы хороша и интересна ни была, все-таки не более как личное дело, каприз, остроумная проба своих способностей, листок из милого альбома. Роль составителя *записок* и важнее, и серьезнее, и почетнее: имя его уже связалось с историей литературы, т. е. с историей общественного нашего развития! Понятно, что при этом уже пропадает всякая необходимость полудоверий, умолчаний, недоговоров как в отношении себя, так и в отношении других — нужна только добросовестность и любовь к людям, которых описываете. Если Вы станете на эту точку зрения, то уже увидите под ногами своими все, что теперь может Вас остановить, или все, что теперь Вас затрудняет — фальшивое понятие о дружбе, о сбережении памяти человека, о приличии и неприличии... Задача делается только показать лицо и событие во всей их правде и так, чтобы самая эта правда нисколько не мешала ни любить, ни уважать их. Конечно, для этого надобно уже отделиться от маленьких и пошленьких соображений мещанского понимания морали, comme il faut'а, допускаемого и недопускаемого в обществе, но только на этом основании получается имя летописца эпохи, которое Вы бы заслуживали иметь.

Если Вы удостоите меня присылкой Ваших заметок, я Вам скажу откровенно свое мнение о них, будучи уверен теперь, что они составляют важное приобретение для истории литературы. Я проживу в деревне до половины сентября. Николай Ник<олаевич> Тютчев и Александра Петровна так быстро

проехали через Симбирск, что не закинули даже вести в мою деревеньку, а письмо мое, написанное при первом известии о их появлении на нашем горизонте, пошло бегать за ними, как ласточка за бабочками. Поклонитесь от меня всему их осиротевшему семейству. Жму руку супругу Вашему и препоручаю себя в Ваше доброе и ласковое воспоминание.

28 июля, с. Чирсково
Павел Анненков.

Содержание